

Сергей Осипов

Минуты мира роковые...

Повести и рассказы

Сергей Осипов
Минуты мира роковые...
Повести и рассказы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48508360

ISBN 9785005071385

Аннотация

«Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» Эти тютчевские слова приходят на ум при прочтении книги, которую вы сейчас держите в руках. Крушение империи – безусловно, роковые минуты индивидуального существования человека. Речь здесь идёт, прежде всего, о советской империи. Поэтому предлагаемая вашему вниманию книга может представлять интерес и для вас, если вам не безразличны или пришлось пережить последние годы существования некогда великой страны.

Содержание

Азиатский дневник	5
Аппиева дорога	60
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Минуты мира роковые...

Повести и рассказы

Сергей Осипов

Корректор Венера Ахунова

© Сергей Осипов, 2019

ISBN 978-5-0050-7138-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Азиатский дневник

Владимиру Юрьевичу Путяте посвящаю.

Обычно в подобных случаях лукавый автор начинает рассказ примерно со следующих слов: *«Эта мелко исписанная тетрадь была случайно найдена мною в столе (или на тумбочке у изголовья больничной койки) трагически погибшего (рано умершего) молодого человека. Я долго думал, колебался, смею ли вынести на суд читателя сей странный курьёз, каприз мысли и так далее»*. Таким пассажем автор как бы отгораживается от всего, что дальше последует в тексте, снимая с себя какую-либо ответственность и уваливая от возможных обвинений в дурном поведении и безнравственности, как будто хорошо и нравственно рыться по чужим тумбочкам, искать чуть ли не в мусорных корзинах или без обиняков признаваться: *«Недавно я узнал, что П., возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало...»*

Не буду говорить, где я нашёл следующий далее текст. Может быть, даже в ящике собственного старого стола. Это не важно. Отражает ли он что-либо существенное в нашем не существовавшем прошлом и может ли помочь теперь?

* * *

Передо мной три ряда букв на матовых клавишах – волшебное озеро, всплески волн которого могут оживить всё в мире. Так оживите меня! Верую в вас, русские буквы. Соединяйтесь правильно под моими пальцами. Образуйте точную, исчерпывающую свет и тьму речь. Примите груз моего сомнения на свои сомкнутые в строгом порядке плечи. Мою боль, мою печаль, моё неумение – вынесите. Это сейчас мои знамёна! Не дайте пропасть моему растерзанному войску, так и не увидев моря. Из жалкой пустыни уныния и лжи выведите своего бедного полководца. Анабазис! У Ксенофонта было только десять тысяч верных воинов. Столько же, сколько у меня слов...

* * *

Трое суток я почти непрерывно спал. И мне сначала снилось всё то, что я хотел и не мог иметь в жизни. Но сегодня ночью пригрезился кошмар: между любовными свиданиями с хорошенькими девушками – полусгнивший изуродованный труп – и я не хочу больше закрывать глаза.

Что лучше: спать или действовать? Вопрос не праздный. Действительность инерционна. В ней нечего делать, например, без денег. Во сне можно и без них. По Эпикуру: наслаждение – это отсутствие боли. Значит, здоровый организм сам по себе излучает бесконечно спокойный фон удовольствия, который разрушить могут только наши невоспитан-

ные суетные желания.

Если человек здоров и ничего не желает, он счастлив. Но не желать лучше всего во сне, то есть там, где желания возникают и исполняются почти одновременно. Это и есть наивысшее счастье, возможное только в фантазии или мысли. И во сне!

Делать абсолютно нечего. До ночи ещё далеко. Куда-нибудь пойти – нет денег. Заниматься – устал. Поэтому я и сплю всё время. Одиннадцатого, три дня назад, я хотел ехать на совещание, где обсуждали мою статью. Встал рано, оделся, созвонился. Но начал бриться – посмотрел в зеркало и ахнул: правый глаз – весь красный. Сосуд лопнул. Вот тебе и нервы, и бессонные ночи. От греха подальше лег спать и спал трое суток с небольшими перерывами.

Что только мне ни снилось! Путешествия, горы, бескрайние реки, мосты над ними, каменные утёсы. Приснилась и девушка, которой я написал последнее стихотворение. Мы с ней целовались... Но сны нельзя описывать. Как-то жутко.

Сегодня было небольшое приключение и наяву. Около трёх я пошёл дать объявление в Ленсправку об уроках и консультациях. Пройти пешком надо было две остановки. Решил не ехать – прогуляться. И вот на середине короткого маршрута увидел в телефонной будке знакомую физиономию – только глаза закрыты железным прутиком будочного каркаса. Рыжая борода, нос с горбинкой, хитрые губы – всё на месте. Я даже присел, чтобы под прутиком двери глаза

разглядеть – не зелёные ли. Разогнулся – нет, всё-таки не он. Пошёл дальше. Навстречу девушка симпатичная идёт. Ореховые глаза сквозь морозный дым дыхания чуть согрели меня смеющимся взглядом, теперь это не часто со мной бывает, так что я даже вослед волшебнице посмотрел и вдруг слышу: «Озеров!» – парень из будки вышел, с ним как раз только девушка поравнялась и за него завернула, и вот этот парень мне рукой машет, зовёт.

Я подошел, смутно догадываясь, что же это. Первые его слова всё разъяснили:

– Ну, как дела, Сергей Никитович? Как ваш пропуск?

Это был один из тех двоих незнакомцев, которых я, вдрызг пьяный, пытался месяц назад «арестовать», размахивая для вящей убедительности своим красного цвета пропуском, смахивающим издали на весьма серьёзный документ. Ребята у меня из рук его выбили и подобрали, сказав мне, что он на дороге валяться остался. Вёл я себя тогда погано... «Молодые люди, молодые люди», – пропел бородатый, намеренно ломая звук «эль» в слове «молодые». Это он меня передразнивал.

– Мы с ребятами целую неделю смеялись. Э-эх, разве так ведут себя? Сумки требовал наши показать, мол, мы со склада идём. А что у нас в сумках? Термосы – и только. В вечер работали. Перед старшими товарищами, которые за нами шли, стыдно.

– Где же пропуск?

– Вот, держи. Целый месяц с собой таскаю. Думаю, встречу случайно. И вот – встретил.

– Что же мне с ним теперь делать? Мне новый выдали. Даже без выговора обошлось...

Довольно! Что за ёрнический стиль? Постоянные инверсии. Голосок подлый. Достоевский или Зощенко? Да, так, с оглядками и хлюпотцой, говорил человек из подполья. Либо герой Зощенко, то есть человек из послереволюционного подполья. Но то, что со мной происходит, это и формирует мой голос, достойный происходящего. Всё же закончу историю.

– Давайте перейдём с вами на вы. Я был ужасно пьян в тот вечер и прошу у вас за всё прощение. Даже не помню, что я там ещё наговорил.

Парень отдал мне пропуск, протянул, вытащив из перчатки, руку. Я хотел сначала в перчатке, но увидев, что он свою снимает, быстро сдёрнул и ощутил крепкое, горячее на морозе рукопожатие.

«Утрата» пропуска имела между тем серьёзные для меня последствия. Начальник первого отдела, кому я, перерыв все карманы скромного моего гардероба, был вынужден сообщить о потере, выпалил резко:

– А голову ты не потерял?

Я молчал, потупив упомянутый им предмет.

– Подкладки пиджаков-курток-пальто хорошо проверил?

И, не дождавшись моего ответа, определил:

– Всё. Поедешь теперь в Азию, чурок стругать. И... никаких возражений. Иди, командировку во Фрунзе оформляй.

«Так, вместо того, чтобы защищать диссертацию, – думал я, сжимая в ладони запоздало вернувшийся ко мне пропуск, – вынужден теперь на полгода лететь в Пишпек и Кызыл-Кия, где были филиалы нашего института. Лететь и сеять „разумное, доброе, вечное“ среди потомков народов, более древних, чем мы – русские, по крайней мере, раза в полтора-два».

27 января.

За стеной в соседней комнате скрипнула дверца открываемого шкафа. Этот звук внезапно вернул меня в родной дом. И на год-полтора назад во времени. Тогда тоже у соседей скрипела дверца шкафа, будто у меня в комнате. Так, раздражающее когда-то и причиняющее столько неприятности там, показалось мне сейчас в нескольких тысячах километров от дома в пустой холодной комнате общежития, потерявшегося в горах центральной Азии, родным и милым. Не так ли после смерти? Душа будет радоваться даже мелким и раздражающим проявлениям земной жизни, пока самый слабый отголосок этой жизни не замрёт вовсе.

Вчера самолётом я пересёк полстраны. Ташкент встретил меня прекрасной улыбкой раннего весеннего дня. Светило солнце, играла музыка, дымились шашлыки и плов. Здесь, в аэропорту Ташкента, завязан один из самых тугих узлов

советской действительности. Именно в этой точке для многих солдат-интернационалистов из ограниченного воинского контингента кончается война и начинаются мирные будни. Штаб содействия (по-моему, так!) воинам-интернационалистам в приобретении авиабилетов в любой угол страны – в самом центре зала ожидания нового аэропорта. Угрюмые лица солдат встретились мне за два-три часа, что я провёл в аэропорту, не однажды. Лётчики военно-транспортной авиации и вежливые офицеры – другое, пожалуй, уже моё поколение советских мужчин. Люди они весьма самостоятельные на вид, и мне было приятно, оказавшись за одним столиком в чайхане с майором примерно моих лет, услышать от него очень корректное: «Приятного аппетита!» – и вежливый кивок головы в мою сторону. Может быть, я для него первый соотечественник, с которым он трапезовал за одним столом после войны на юге.

У самого трапа самолёта продают цветы, кассеты со звукозаписями (отсюда и слышна постоянно музыка), огромные дыни, кроссовки, те самые, в которых наши интернационалисты предпочитают ходить в атаку в Афгане. Можно тут купить и пятнистую камуфляжную панаму на память о заканчивающейся непопулярной войне. Стыдливой войне русской нации. Ведь уже целое поколение наших молодых людей, мальчиков и подростков выросло под огромной тенью непонятно откуда взявшейся угрозы получить пулю в лоб или кинжал в спину, едва выйдя за порог нашей мирней-

шей и счастливейшей державы в дружественную, охваченную кровавым пламенем революции страну. Кто породил эту угрозу?

Я еду в город, в центр его, на монументальную и совершенно пустую площадь, где витает дух Рашидова, Брежнева, всего мрачно-опереточного Политбюро тех недавно прошедших лет. Здесь всё настолько огромно, что человек кажется муравьём. Я не стал подходить к самому пьедесталу, вздымающему каменного вождя с воздетой стандартно рукою, размер ладони которой приближается к метру.

На спуске в метрополитен встретил молодых темнокожих иностранцев, белозубых, смеющихся, с фотоаппаратами, болтающимися на длинных чёрных ремнях. Двое выбежали вперёд – сниматься, в оставшейся группе вскинулось несколько полароидов. «No, single», – попросил посторониться товарища один из студентов, желающий запечатлеться на фоне вождя один. Видимо, эти негры испытывали примерно то же, что и я, находясь на абсурдной парадной площади в центре изрытого траншеями непрекращающейся стройки города.

Но, всё-таки, весна! Волны ожиданий и желаний захлестнули мою озябшую на севере душу. Проезжая в троллейбусе мимо строящегося, почти законченного высотного дома весьма оригинальной сейсмостойкой формы – поставленные тесно друг к другу высокие башни – я, глядя на полукруглые окна пустующих ещё пока квартир в этих сказочных башнях,

подумал вдруг о молодой узбекской паре, которой предстоит жить здесь. И тут же, в следующее мгновение, поставил себя на место мужа этой молоденькой славной узбечки. Смог ли бы я начать в этом новом городе, новом доме всё сначала? На секунду мне показалось – да! Я не стар ещё и в новом городе, в новой обстановке могу оторваться от всего прошлого. Но память, память – эта усталость души человеческой, сказала мне: «Нет, ты не смог бы начать всё сначала. Тебе казалось бы, всё уже было. И – не так. Молодая девушка будет для тебя непонятной и одновременно простой, как кукла».

Через два часа, пролетая над Ферганской долиной, я заснул минут на пятнадцать. И мне приснился удивительный сон, в котором я прожил всю ту жизнь, о которой столь мимолётно подумал чуть раньше, проезжая мимо строящегося дома в Ташкенте. Но я проснулся в ужасе, когда моя юная жена, прекрасная в голубых прозрачных шальварах, с красным цветком в чёрных, мелко и туго заплетённых косах, приветливо улыбаясь, начала ублажать меня своими развращёнными перстами. Тело сладко гудело, и это гудение перешло в гудение самолёта, в котором я внезапно оказался, выпав из непредсказуемого сна. Справа от меня в узком иллюминаторе покачивалась Фергана, нарезанная как праздничный торт, присыпанный снежной пудрой. Самолёт заходил на посадку.

28 января.

Пожалуй, совершенно напрасно я сюда приехал. Заработка нет, погода холодная, голодаю. Слава Богу, что билет на Ленинград у меня на первое февраля. Через два дня я должен быть уже во Фрунзе. Наби достал мне билет на местную авиалинию Кызыл-Кия – Фрунзе, через горы, как я уже летал летом. Но сейчас надо, чтобы повезло с погодой. Одним словом, весьма авантюрная и дорогая получилась поездка.

В Фергане Наби меня не встретил (опоздал). Вечером, компенсируя свою неловкость, пригласил в ресторан, где мы изрядно надрались. На следующий день я спал до двух часов (одиннадцать по нашему времени) и прочитал вечером неплохую лекцию. Лёг спать на голодный желудок, и чтобы этого не повторилось и сегодня, придётся мне пойти сейчас в ресторан. Наби уехал в Маргилан на поминки, вернётся только в понедельник. Во вторник мы летим с ним во Фрунзе. А завтра два слушателя моих лекций вызвались отвезти меня в Фергану за книгами на воскресный базар. Чего бы я хотел сегодня? Хорошо поесть и выпить в ресторане. Встретить интересного собеседника, а вечером на ночь взять немногословную женщину. Что будет в реальности? Посмотрим...

...Поел и выпил я хорошо, но ни собеседника, ни женщины не нашёл. Смотрел оставшийся вечер телевизор в совершенно пустом холле. Сейчас заварил зелёный чай, что купил два дня назад в Питере на Марата и привёз его Наби в подарок. (Здесь такой чай в дефиците, как хорошие книги

в Питере. В среднем в нашей империи есть и чай, и книги, и в достаточном количестве, но – в среднем. Поэтому русские книги надо искать на базаре в Фергане, где их практически никто не читает, а зелёный чай – в Питере, на Марата, где его практически никто не пьёт.) Моя жизнь здесь – смесь роскоши и нищеты. В полное распоряжение отдали мне половину этажа дома, но в коридоре лежат на полу стружки, свернувшиеся свидетельницы прерванного моим приездом ремонта. Меня обеспечили вроде бы всем необходимым, даже электрическими камином и чайником, но бросили в полном одиночестве...

Завтра два юных таджика разбудят меня стуком в окошко и повезут в Фергану.

29 января.

Судя по тому, какую продают на «птичьем базаре» в Фергане рухлядь, азиаты – очень бережливый народ. Здесь можно купить всё – в диапазоне от новых «жигулей» до шарика от сломанного подшипника. Не ожидал я, что куплю в этом сердце Азии томики Волошина и Пастернака и что эти маленькие, прекрасно изданные аккуратные книжечки будут лежать здесь чуть ли не навалом.

Камель и Ином приехали за мною с опозданием минут на двадцать. Я уже выходил на замёрзшую баскетбольную площадку, где, помню, летом, полгода назад каждый день делал зарядку. Сейчас на ней лежал кое-где снег. Утро было

прозрачно и обещало удивительный день. Солнце выходило из-за цепи каменных гор в каком-то зеленоватом блеске.

Дорога в Фергану была очень живописна. Ряды одноэтажных строений вдоль неё говорили не о недостатке, а о мудрой осторожности их обитателей. В этом был древний восточный колорит, и не к месту выглядело здание восьми- или девятиэтажной больницы, ближе к центру города. Раньше можно было, глядя на эти неуместные высотные творения, испытывать смешанное чувство сожаления и гордости: умеем всё-таки хоть что-то, например, строить в сейсмоопасных зонах лучше, чем наши неучёные предки. Последние землетрясения в Армении и Таджикистане обнажили не мастерство, а преступность строителей, возросшую за годы большевизированной советской власти. Эта власть развратила всё, лишив каждого человека элементарной самоответственности. Не ответственности перед государством, которая в настоящей мере не развилась, да и не должна, пожалуй, развиться у нормального человека, а ответственности перед своей совестью, перед близкими, перед людьми, с которыми живёшь и для которых ты делаешь то, что профессионально умеешь. Вера в социальную защищённость столь велика, что иному кажется – выполняй всё по закону, согласно инструкции, а ещё лучше, согласно слову начальника – и всё будет в порядке: недостроенные дома не рухнут, недоучившиеся инженеры не подведут, недобросовестные стражи закона и порядка не злоупотребят. Даже самому строителю с семьёй

в такой недостроенный дом поселиться не страшно: ведь всё согласно проекту, а то, что цемент слегка украли, так ведь это для себя и чуть-чуть, и главное – прораб свое дело знает.

В самом совершенном, технически развитом обществе человек должен чувствовать себя хоть на узком участке фронта наедине с грозной Природой и должен знать, что этот узкий участок – его, если он допустит здесь промах, враждебная сила стихии ворвётся в дом человечества и натворит там бед.

Гудение рынка в Фергане. Многочисленные мелодии с лотков продавцов звукозаписи. Очень вкусная еда и недорогая: плов, шашлыки, чай, какие-то удивительные колобки-пирожки с мясом и луком – сочные и горячие. Вот что происходит на частном рынке, где человек встречается не с государством, а с другим человеком.

Победив всех социальных врагов своих, большевики оказались беззащитными перед враждебными силами Природы, в том числе и человеческой.

Завтра – последний полный день в Кызыл-Кия. Встану, когда проснусь. Пойду пешком на рынок. Куплю подарки сыну и дочке. Пообедаю в какой-нибудь чайхане. В четыре часа прочту последнюю лекцию часа на два – два с половиной. Вечером поужинаю в гостинице. Послезавтра в одиннадцать вылетаю во Фрунзе. Думал ли я когда-нибудь, что буду читать: *«Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе, расшиблась весенним дождём обо всех»*, – в холодной комнате на краю Киргизии у подножия каменных гор.

30 января.

Даже не верится, в книжном магазине купил сегодня прозу Набокова («Машенька. Защита Лужина. Приглашение на казнь. Другие берега»), Олешу, Сологуба («Мелкий бес»). Это было как в сказке. Поздравляю! А до этого прогулялся по сверкающему лужами на солнце городу, весенний воздух которого, казалось, готов был впустить в себя первых бабочек.

Ждать неизбежное – нет ничего хуже для человека. А между тем приходится заниматься этим всю недолгую жизнь. Правда, глобальная неизбежность смерти скрашивается неизвестностью и не мешает наслаждаться чувством времени. Скорее, наоборот! Но мелкие события, про которые всё заранее ясно, мстительно не дают покоя. Они уносят сознание из переживаемого им мгновения в какое-то абстрактное будущее, в котором они должны произойти. Стоит ли говорить, что такое будущее так никогда и не наступит...

* * *

...Я летел через Москву в Фергану и далее к горам Киргизии. До ночного рейса было ещё около часа. Друг проводил меня, и мы стояли на втором этаже аэровокзала Пулково, разговаривая ни о чём. Облокотясь на перила, гляде-

ли в калейдоскоп суеты у регистрационных стоек, сменяющейся упорядоченным шествием посуровевших в лицах пассажиров к выходам на посадку. Конечно, это не врата ада, но какую-то часть надежды, проходя в длинные тоннели, невольно приходится оставлять. Поэтому так хорошо вспоминать прошлое при расставании в аэропорту. Хаос былых событий вдруг обретает стройность времени и наполняется ошеломляюще ясным значением. Хотя, на самом деле, это всего лишь игра памяти, прячущей в своих глубинах обломки несбывшихся надежд и выносящей на поверхность то, что и так с тобою. Не этим ли объясняется поразительная точность обратных пророчеств?

Объявили посадку. Я простился с другом у тоннеля и ушёл, не оглядываясь. Однако после необходимого осмотра на входе в зал ожидания подумал: что это я дую, надо помахать рукой, снимая этим тривиальным жестом – словно попытка протереть тускнеющее стекло – многозначительность разлуки. Оглянулся – видны были только ступеньки, по которым я только что сбежал вниз, и жёлтые туфли на верхней. Я присел на корточки, наклонил голову к самому полу – не знаю, что подумали другие пассажиры или работники аэропорта, но фигура друга выросла для меня почти в полный рост, фиолетовым фертом, только без головы. Видна была даже его рыжая борода, но ни лица, ни глаз, как я ни припадал, соблюдая, впрочем, приличия, к цементному полу, увидеть не удалось. Помахать рукою было некому,

слишком поздно. Джинсово-фиолетовая «Ф» была последним знаком оставляемого мной города, которым он обратился ко мне.

В самолёте, стареньком Ту-134, первый салон был занят иностранцами, по виду – студентами, отправляющимися домой на каникулы. Проходя сквозь узкое пространство между рядами кресел, я обратил внимание на худую длинноногую негритянку с красивым европейским лицом. Она стояла в проходе, подыскивая себе место, и мне пришлось, чтобы пройти мимо, передвинуть её точеную шахматную фигурку, чуть притронувшись ладонями к ускользающей талии этой эбеновой дочери чужой расы. Заняв своё место во втором салоне у потрескавшейся от времени линзы иллюминатора, я приготовился вздремнуть часок – ведь по времени была глубокая ночь, обмелевшая, впрочем, в этот июньский день до полного исчезновения в наших широтах, – как вдруг лёгкое, словно вздох, качание кресла слева от меня и волна знакомого уже запаха духов заставили обернуться.

Положив голову на крахмальным чехольчик кресла, загадочная негритянка смотрела тёмными лучистыми глазами мимо меня в иллюминатор, сохраняя волшебное спокойствие на лице, даже когда в продолжение нескольких секунд я бесцеремонно разглядывал его, следуя доброму правилу – запоминать прекрасное при жизни. Наконец, решился заговорить, причём во всё время молчаливого созерцания её лица я (или мне так показалось мгновением позже?) оттяги-

вал ставшее теперь уже неизбежным (хотя бы из соблюдения приличий) словесное обращение выбором языка, на котором было правильнее всего обратиться: скорее всего, это должен был быть французский, связывающийся в моём сознании с галантным неокOLONиальным покорением чудес юга Западной Африки, но я его не знал, немецкий совершенно не шёл моей соседке, и я остановил свой выбор на нейтральном:

– Do you speak English?

– Yes, a little, – откликнулась девушка.

– May I ask you?

Мягкий кивок согласия, чуть усилившееся любопытством лучение глаз и невольная, хоть и сдержанная улыбка, возникающая на лице произносящего: «Yes», — были мне ответом.

– Where are you from?

– Panama.

Мгновенно всё переиграв, стерев с полей воображения почти построенный замок будущего знакомства с бегающими по его лесенкам и стропам от башни к башне вопросами – ловкими и усердными строителями завязывающейся беседы – я, словно кристалл в руке повернул, перенёсся от юга Западной Африки в Центральную Америку и напрямик продолжил:

– You are very beautiful.

– O-o-... – улыбнулась девушка. – Thank you.

Тут мне стало стыдно за свой английский. В нём я чув-

ствовал свою провинциальность по сравнению с латиноамериканской негритянкой, которая, как мне показалось, уже заметила, что знает язык лучше меня. Впрочем, может быть, и нет. За исключением скверного произношения я мог и не выдать своего бессильного незнания, поскольку каждую фразу обдумывал по полторы-две минуты, отворачиваясь при этом к иллюминатору, делая вид, что рассматриваю сквозь него великолепно грядущие белоснежно-розовые облака. Но как разнилось то, что я хотел сказать своей соседке, выражая ей восхищение не только видом за иллюминатором, но и ею, и то, что я скупобесстрастно говорил. Может быть, это было и к лучшему. Молчаливость сразу после первого признания интригует женщину. Так я мог показаться ей задумчивым шведом с дымчато-голубыми глазами, вся страсть которого выразилась в одной только фразе, третьей по счёту из произнесённых: «You are very beautiful», – но меня беспокоило, что она примет меня за невежду, не знающего толком даже английского. Тогда я обратился к ней по-немецки:

– Sprichst du Deutsch, schönes Mädchen?¹

– Not understand. Не понимай! – ответила она, и всё сразу стало просто. Мы перешли на русский.

Поговорили о её родине, наркотиках и генерале Норьеге. Узнав, что она католичка, я подарил ей оказавшуюся у меня открытку с изображением Христа, окружённого детьми раз-

¹ Вы говорите по-немецки, прекрасная девушка?

ных рас и народов.

– Смотрите, вот это – вы, – указал я на смешную негритянскую девчущку. – А это – я, – щёлкнул пальцем в желтоволосого мальчугана рядом. – И как хорошо нас объединяет любовь, – закончил обобщающим жестом ладони, остановив её напротив Христа.

Она завертелась, заёрзала в кресле, прижалась своей рукой к моей так, что я почувствовал латиноамериканский жар её тела от локтя и до плеча, услышал её дыхание у своего уха, увидел искорки в тёмных глазах, возжелал острые фиолетовые колени, с которых, поднявшихся от резких движений, соскользнул чёрный шёлк широкого платья. Тут бы обхватить соблазнительное колено ладонью, но на подоле юбки я заметил сомнительное белое пятнышко, сбившее мой порыв, и которое она тут же принялась оттирать быстрыми чёрными пальчиками, накидывая другой рукою скользкий подол на ноги.

– Вы едете домой?

– Да, завтра буду в Панаме.

– А я – в Фергане, – я показал ей руками воображаемый глобус и диаметральные точки на нём. – Мы будем на Земле завтра – вот так.

– Дальше некуда, – засмеялась она.

– И удивительно, как близки мы сейчас.

– Да, – она вложила свою руку в мою. – Будем спать? – откинула голову, опершись затылком о подушечку кресла,

закрыла глаза.

Зелёные лучи уже более московского, чем петербургского солнца, поднявшегося над синим козырьком панцирных, похожих на драконов туч, гасли в её длинных густых ресницах, переливаясь всеми цветами тёмной радуги. На полчаса мы заснули вместе. Всё-таки была глубокая, хотя и сверкающая солнцем, ночь.

Прилетели в Москву. Я, как истый француз, помог хрупкой латиноамериканке снести вещи по трапу.

– Только осторожно, – кокетливо улыбнулась она, повернув ко мне изящную свою головку.

И – ничего дальше. Расстались. В этом-то и состоит европейское воспитание: не жалеть приветливости и дружбы, заведомо зная, что это всего лишь встреча на час, один из полумиллиона в жизни.

В Москве я не был девять лет. И никогда так рано не оказывался в центре города. В семь утра я спускался уже по ступенькам эскалатора метро «Динамо», где неотличимо смешался с толпой спешащих на работу. Вышел на «Площади Свердлова». Пройдя Дзержинскую и Новую, оказался на Красной.

Было удивительно прозрачное утро. Милиционеры, иностранцы, а также спешащие по нарисованным на брусчатке проходам мелкие кремлёвские служащие чуть ли ни в равных количествах представляли здесь в этот ранний час цивилизацию. Рабочие швабрами мыли розовое тело мавзолея.

Милиционеры сучали. Иностранцы готовили видеотехнику, чтобы запечатлеть смену караула, который проследовал сразу за боем часов на Спасской башне, ненамного предвзяря слаженное стрекотание вскинувшихся синхронно камер. Любопытно, на родине этих благообразных старичков и старушек с дорогими камерами в руках пытаются, насколько это возможно, придать признаки жизни в театрах восковых персон куклам, у нас же – живых кремлёвских курсантов в карауле окукливают муштрой до полной иллюзии исчезновения жизни, разве что кого-нибудь из марширующих предательски подведёт щека с конвульсивно дёрнувшимся мускулом – та случайность, за воспроизведение которой дорого заплатили бы мастера восковых фигур. Возможно, имитировать жизнь с помощью мёртвой материи не более сложно, чем подчинить жизнь механике мёртвого? Во всяком случае, и то, и другое почитается за искусство, поскольку создаёт иллюзию воскрешения. Вот и курсанты у Спасских ворот вдруг разом ожили, выйдя из слитного оцепенения, и ушли более-менее обычным человеческим шагом под арку.

Тут мне посчастливилось увидеть вспыхнувший в складках времени, причудливо собранных на пространстве площади, уголок старой доброй Москвы, города Долгорукого и Годунова. Это случилось на крутом скате холма между храмом Покрова и кремлёвской стеной, вытыкающей красными зубьями из юной немятой зелени сырого вала. Я стоял у пустого крыльца храма, аляповато расписанного розо-

во-голубыми херувимами и жёлтыми жар-птицами. Крыльцо было совершенно пусто, без всяких вещественных примет времени, обтекающего его чистой струёй, и оттого была полная иллюзия, что в следующий момент хрустальный колокол воздуха в нём раздаст, раздвинет вокруг себя тело боярина в шубах или убогого в рубище, но только не сотрудника исторического музея в строгом европейском костюме. Появившийся служащий перечеркнул столетия, вызванные тенью прозрачного утра из доброй человеческой старины в этот потерявший ныне всякий разумный смысл и облик город.

Но неуничтожима жизнь, как мускул, дёргающийся на щеке машинно марширующего курсанта. Вот и сейчас, возле самой строгой площади мира, в двадцати шагах от Спасского чрева, на зелёном газоне земляного вала с вытыкающимися из него красными зубьями кремлёвской стены – я не поверил своим глазам... чудо! – спят люди, и некоторые из них уже просыпаются. Это гости столицы, что ли, не нашедшие в ней другого приюта, кроме как у подошвы Кремля? Заботливая мама занесла своё закапризничавшее чадо, сдёрнув с него предварительно штанишки, над зелёным валом, подпирающим Спасскую башню, и моча младенца укрепила мощь Московского Кремля. Значит, не всё потеряно, подумалось мне, коли утренний город может так мило улыбаться, иронизируя над гнетущей серьёзностью задымленных картинных далей, открывающихся с этого исторического, но не потерявшего чувство юмора московского уголка.

Далее Москва крутилась передо мной литературно-исторической каруселью, вращение которой было усилено энергией сжатости моего времени между мирами Петербурга и Ферганы. Весь путь от аэровокзала до аэропорта я продремал в автобусе, просыпаясь только от толчков торможения на перекрёстках, благодаря которым и увидел по очереди чугунные восклицательные знаки памятников Горькому, Маяковскому, Пушкину и Юрию Долгорукому, последний похож был, впрочем, более на чёрную бесформенно растекшуюся в воздухе кляксу. Красная площадь просматривалась сквозь Исторический проезд и была, в отличие от раннего утреннего часа, совершенно обычна, то есть полна народу. Днём туда хлынули все те многочисленные паломники советской веры или неверия, что удерживались до девяти утра милицией в прохладе Александровских куш. А вот и дом на набережной проплыл мимо сквозь толщу стекла и времени. Кинотеатр «Ударник», словно сжатый кулак, поддерживающий соседа. Замоскворечье. Большая полянка... Здесь сон окончательно одолел меня.

В Домодедово провёл в ожидании рейса около часа. Смотрел торговлю и игру, шедшие весьма бойко. Купил два полуподпольных календарика, без красных дат в кирпичиках месяцев, но с накрашенными голыми девицами на обороте. Брюнетка на оттоманке, покрытой персидским ковром, и блондинка с глупой улыбкой, обнимающая ладонями и ногами мохнатую пальму. Обе девочки, согласно последней

фототехнической моде, поджали животики, отчего груди их стали вдвое пышнее, и смотрят с вызывающей волнение наглостью: словом, фотограф своё дело знает. Интересно, кому (не японцам ли?) принадлежит идея связать вместе эротику и время, поместив изображения раздетых девиц на календарях? Во всяком случае, есть в этом не лежащий на поверхности и волнующий ум смысл.

В Фергану я прилетел за полчаса до наступления комендантского часа. Меня встречали друзья. Надо было здорово торопиться, чтобы успеть пересечь границу с Киргизией, где в одном из зелёных язычков долины, лизнувшем красноватые горы, лежал городишко, являющийся ближайшей целью моего путешествия. Нашу «Волгу» останавливали по пути чуть ли не на всех перекрестках. Удивляло грозное оружие в руках мальчиков, почти подростков – курносые автоматы, напоминавшие о своей «курносой прародительнице», длинные чёрные палки дубинок-демократизаторов и поясные кинжалы в пластиковых коричневых ножнах, последние не изменились ещё со времен моей армейской службы. Шоссе Фергана – Кувасай – Кызыл-Кия через каждые три-четыре километра перегорожено бетонными полустенками, разнесёнными на встречных полосах движения метров на десять так, что машина может провильнуть по такому простейшему лабиринту, только снизив ход практически до полной остановки.

Границу пересекли за пять минут до начала комендант-

ского часа, то есть остановки всякого движения. Последние километры по Ферганской долине проносились со скоростью сто-сто двадцать. Я видел удивительно пустые светлые ещё улицы, которые, впрочем, пересекали изредка от дома к дому пёстрые тени узбечек. Мужчин не было. Кроме солдат, один из которых (вот прямо сейчас!) выбежал нам навстречу и вращает чёрной дубинкой, приказывая остановиться. Приседая, он одновременно вытягивает или просто поправляет свободной рукой автомат, висящий на ремне у него за спиной. Видимо, мы слишком быстро ехали, и это привлекло внимание патруля. Курсанты проверили машину от багажника до бардачка, прочитали наши документы и выпустили наконец из Ферганской клетки в вольную пока ещё Киргизию.

Через полчаса я возлежал в доме друга за дастарханом, расстеленным на террасе, смотрел на первую зажегшуюся на западе звезду, пил водку, заедая пловом и фруктами, листал книги. Стремительное передвижение подходило к концу, останавливалось, замирая у первой своей точки, где мне предстояло прожить маленькую жизнь, почти не связанную ни с прошлым, ни с будущим.

1.

24 июня.

Сегодня Наби разбудил меня лёгким стуком в дверь.

Я спал крепко, охраняемый календарями, разложенными на столике у изголовья кровати. С трудом пришёл в себя за чашкой кофе. Далее – всё вертелось. Съездили на патронный завод, где я около часа убеждал глобально приунывшего главного инженера, бывшего военмеховца, в необходимости демократизации в центре. Он был другого мнения, считал, что, по крайней мере, здесь, в Азии, более необходимы не демократия, а войска. Говорить удавалось неплохо, но вряд ли я его переубедил.

Обедали вместе с директором, представившимся сопровождавшей меня девушке-секретарше главным мафиози города. Мол, со мной вам нечего бояться, у меня своя чёрная сотня... Действительно, он входит в совет обороны города. После лекции, которую я прочитал подшофе, и неплохо прочитал, ездили отдыхать и купаться в Найман. Вода, по сравнению с прошлым годом, там почти ушла, и я мог спокойно ходить по дну бывшего разлива водохранилища, над которым проплывал год назад метров четыреста, если не больше.

В поисках тени мы заехали под деревья небольшого и как будто заброшенного сада. Расположились рядом с компанией двух водителей-дальнобойщиков, отдыхавших с совершенно непотребного вида девицами, длинные ноги которых были сплошь искусаны комарами и в цыпках. Вдобавок обе девушки к концу вечера порезали ступни стёклами разбитых водочных бутылок. Один из шофёров, постарше, не хотел купаться, и подруга, ему предназначенная, избега-

ла его объятий, впрочем, он не очень и сокрушался об этом. Узнав, что я из Ленинграда, спросил про Эрмитаж. Мол, правда ли, что картины там так прекрасны, что лучше, например, чем вид расстилающихся в тот миг перед нами дымчато-далёких гор. Посмотрев на горы, я ответил, что двухмерная плоскость холста не может совершенно адекватно вместить трёхмерный пейзаж, но зато в истинной картине присутствует измерение – душа мастера, которое не только компенсирует отсутствие глубины (заменяемой, впрочем, перспективой), но и вмещает в холст время. И описал собравшимся «Завтрак с омаром» Виллема Хеды: «Представьте себе только что очищенный (триста сорок лет назад!) лимон, золотистая шкурка которого свисает прямо из холста, петляя по складкам белоснежной накрахмаленной скатерти, удерживаемой на скользкой поверхности лакированного стола тяжёлым серебряным кувшином с густым тёмным вином внутри и солнечным бликом на выпуклом боку – отражением случайно заглянувшего в тот (этот!) миг в узкое мозаичное окно голландской комнаты стремительного луча, так что это секундное отражение кажется реальнее и кувшина, и скатерти, и лимона, и холста, и рамы, и самого тебя, смотрящего в неё, замерев в восторге и страхе. И словно чтобы развеять твой страх потери понимания, где настоящая действительность, а где всего лишь умелые мазки на холсте, художник нарочито небрежно и мёртво изображает главного персонажа натюрморта – сваренного омара. Тот

настолько условен, что впечатлительный зритель, успокоившись, вздыхает: «Нет, этот живой блик на холсте всё-таки только наваждение, существую я, а не оставленный молодым человеком завтрак со скомканной салфеткой, брошенной небрежно на стол, в спешке стремительного ухода. (Куда?) Может быть, на любовное свидание? Или дуэль?»

– Вот теперь мы видим, что ты ленинградец. Теперь я обязательно доеду до Эрмитажа. Не умру, пока не сделаю этого, – клялся пьяный шофёр, перегонявший микроавтобусы из Елгавы через полстраны в Киргизию. Он совершенно забыл про свою босоногую подружку, скучающую под деревом у воды. Глядя с восторженным блеском в глазах на пейзаж, открывающийся за расстеленной перед нами скатертью в нескольких километрах от неё и который, кстати, можно было найти на полотнах Мурильо или Веласкеса, изображающих вид Толедо сразу после изгнания мавров, просил, чтобы я говорил ещё.

Дважды и ещё многооднажды произносились тосты за «колыбель революции, которая качнулась мрачной улыбкой» – следите, мол, за душой империи! – она не подведёт. Всё это с пониманием и надеждой, я бы сказал, даже с верой, выслушивали и угрюмые киргизы, и хитро шурящиеся узбеки, и широколицые татары, и вежливые таджики, и юркие турки, и улыбчивые греки, и степенные казахи, и все, с кем я только ни встречался в тот день.

Вечером, вернувшись в гостиницу, полупьяный и оттого

молодой, влюбился в юную казашку. Я встретил её в холле. Она в полном одиночестве пролистывала цветной иллюстрированный журнал. Напротив тускло мерцал экран телевизора. У меня в руках была горсть абрикосов, я сел рядом и предложил ей. Она охотно взяла в маленькую жёсткую ладонь спелый плод. Разговорились. Я был потрясён её красотой и целомудрием. Лёгкий халатик то и дело стремился обнажить матовое колено девушки, она, увлекшись разговором о Негоде, о журнале «Плейбой», на обложке которого та снялась обнаженной, о том, что все советские девчонки мечтают о такой судьбе, не замечала этого, но, заметив, тут же поправляла соскользнувшую с колен ткань. Хрупкая, юная, с маленьким круглым животом, угадываемым под застиранной тканью. Точёное личико, чёрные глаза, смуглая кожа скул и лба, блестящие волосы с «муравьиной кислоткой». Я предложил ей пойти ко мне в комнату, взять черешен из холодильника, она согласилась. Мы вошли, дверь за нами захлопнулась, я усадил девушку на кровать, провалившуюся даже под её лёгкой тяжестью; халатик обнажил матовые колени, которые я принялся целовать, не считаясь с приличиями и не считая – поцелуев было так много, как много листы на чинаре, дающей тень всему айлу над быстробегущей водой. Она откинулась назад и ела черешню, улыбаясь моим ласкам. Вопреки мнению поэта, что в любви нельзя пойти дальше локтя или колена, я пошёл выше, удивляясь полному отсутствию – хотя бы один чёрный волосок! – на коже её то-

чёрных ножек и рук. Волос не было ни ниже, ни выше колен, которые я целовал, ощущая чуть горький полынный привкус её неразвращённой девичьей плоти, пьянея от едва уловимого запаха тех же горьких плодов южной Чимкентской степи, откуда родом её скулы, чуть сплюснутый изящный носик, чёрные, не пускающие в себя глаза, гладкие волосы, которые она откидывала изящно, смуглым лебедем изогнув руку, вверх от затылка, обнажая этим движением белое ушко и шею. Халатик задирался всё выше и выше, я расстегнул на нём две нижние пуговицы, ещё одна, верхняя, расстегнулась сама, и в распахнувшуюся завесу я увидел смуглый живот с белой узкой полоской, напоминавшей взмах крыльев чайки над двумя плотными столбами совершенных бёдер, до которых я уже дошёл в своих поцелуях, но на миг, оторвавшись от этого пьянящего девичьего лона, я был поражён беззащитностью и бесстыдной неловкостью маленьких, с мальчишеский кулачок каждая, белых незагорелых грудей с розовыми торчащими сосцами. Сосцы беззащитно как-то, как слепые котята, что ли, смотрели в разные стороны, и каждый хотел быть сжатым моими губами. Я бросился к ним на их бесстыжий зов. Она выпустила из рук тарелку с черешней и закрыла глаза, положив жёсткие ладони мне на затылок, ероша пальцами мне волосы и прижимая мою голову к себе. Я услышал стук её сердца и слабый стон. Тепло и прохладность её упругих грудей передалась моим щекам и лбу. Я шёл поцелуями ниже и вот коснулся губами крыл

белоснежной чайки, охранявшей своим взмахом последний скрытый от моих глаз краешек тела девушки. Руки её по-прежнему прижимали мою голову к себе, и пальцы слабо ходили в волосах, замедленные изнеможением ласки. Оттягивая зубами тугую тетиву, я напрягал тот лук, выстрел которого убивает сразу двоих, но ненадолго, слава Господу. Мои ладони, мявшие нежно её молочно-розовую грудь, спустились к бёдрам и сорвали туго облегающую волшебную плоть ткань, и тут я увидел её волосы на теле, они были черны и как-то трогательно не густы, сквозь их таинственную сень просвечивало темнеющее лоно, вход в которое она испуганно сжала, сдвинув, насколько позволяла моя грудь, колени. Я приник к ней ближе, одновременно срывая последнее, что на ней осталось (при этом она лихорадочно помогала мне), и, раздвигая ладонями её крепкие нежные ноги, мягко увеличивал расстояние между матовыми в мальчишеских шрамах яблоками колен. Мои губы и язык искали слияния с её стоном, который исторгло из её груди с бешено скачущим мячиком сердца решающее прикосновение.

* * *

Она приехала в Кызыл-Кия по распределению после техникума на три года. Училась в Алма-Ате, сама родом из-под Чимкента. Нежнотелая казашка с гладкими матовыми ногами, с добрыми жёсткими ладонями, вихрящими сейчас во-

лосы на голове пятилетнего мальчугана Марселя, которому я принёс сладкой черешни, и он сидит на диване между мамой и молоденькой тётёй. Ултай (так зовут эту прекрасную девушку) зовёт его к себе на тёплые колени, поправляя всё время полы застиранного халатика, но мальчик слишком увлечён черешней, чтобы идти. Казахская девичья ладонь, дарящая лаской мальчика Марселя, сына Гюльчи – печальной татарки с длинным бледным лицом и грустными глазами. Папа мальчика – кореец, остался на Сахалине, рассказала мне ещё раньше Ултай.

– А у тебя есть любимый? – спросил я, сжимая в своей руке маленькую её ладошку, которой она только что ерошила волосы Марселю.

– Есть. Я с ним сюда и приехала. Он из Алма-Аты, мы вместе в техникуме учились.

Скоро я увидел её друга, красивого молодого казаха с лицом интеллектуального японца, что, в общем-то, совпадает с лицами французов, итальянцев, немцев, на которых почти всегда написано достоинство делающего себя человека. Парня звали Мурат. Он вернулся в гостиницу, когда уже было сильно темно. Сел рядом с моей собеседницей. Она зарделась, словно розовая краска стыдливой зари пробилась сквозь туманную смуглоту утра. Весь вечер она не давала Мурату ласкать себя. Тот ярился. Тонкие ноздри благородного носа с изящной горбинкой выдавали волнение. Я решил заговорить с ним. Он охотно рассказал, что недавно

из армии, служил полтора года во внутренних войсках, как раз в Новом Узене, где сейчас вслед за Ферганой пролилась кровь «иноверцев». Похоже, он одобряет казахов, побивших там палками и камнями кооперативные ларьки «кавказской принадлежности». С узбеками у него другие счёты. Все не узбеки здесь объединяются, чтобы дать последним отпор. Те, кто не верят в возможность этого, собирают имущество, продают дома и всё, что можно, и уезжают в центр России или куда попало. Объявлениями «Срочно продаётся дом» обклеен забор местного базара. Но молодежи этот страх не коснулся, ей – хоть бы что, наоборот, даже интересно, чем всё кончится. Вот и сейчас, Мурат вернулся поздно, ждал с ребятами, не будет ли обещанного узбеками второго погрома в ночь того дня, когда исполнился месяц с начала первых событий.

– Ничего нет. Всё спокойно. Собрались кучками и просто разговаривают.

Позже выяснилось, что ночью была попытка поджечь заводской склад, и только. Пока обошлось. Но кто знает, надолго ли это спокойствие, вызванное страхом? Тлеющие угольки ненависти я видел не однажды в глазах узбекских подростков, сидящих группами у обочин дорог, возле базаров или чайханы. Страшнее, что видел я эту ненависть и в глазах узбекских женщин-матерей, задавленных непомерным феодальным трудом – единственным завоеванием советской власти, избавившей их от гаремной скуки. Во-

обще, в Азии, я не имею в виду её горные области, так называемый социализм, кажется, только усилил, опираясь на фальшивое враньё новой идеологии, непомерную феодальную эксплуатацию, дремавшую здесь всегда. Ничтожный процент новоявленных баев с партийными билетами в карманах европейского покроя пиджаков жирует и развлекается, как не позволили бы себе не только Хант или Рокфеллер, но, думаю, и какой-нибудь нефтяной эмир, властвующий в стране, где мужчины не разучились держать в руках оружие. У нас же, где семьдесят лет социалистического слипания общества размыли границы не только между классами, но и между взаимоисключающими понятиями чести и трусости, женственности и грубости, лжи и правды, закона и произвола, ему нечего бояться. Но велика ныне центробежная сила распада страны, словно держава наша крутится на одном месте, набирая холостые обороты. Хорошо тем, кто вблизи оси – только мелькает всё вокруг, но то же вращение на окраинах начинает сбрасывать невинных в унижение и смерть. Алма-Ата, Сумгаит, Карабах, Прибалтика, Фергана...

2.

27 июня.

Вчера был дастархан с партийными и хозяйственными руководителями района. То, что я оказался на одной суре

со вторым и третьим секретарями райкома Кадамжая, для меня было возможно только в Азии. «Железная леди» – третий секретарь, красивая женщина, выглядит на Овидиевы семь пятилетий, хотя должна быть старше, русская, но с какой-то восточной шамаханской красотой. Когда спустились к водоразделу на горной реке, то по очереди директор завода, эта женщина и второй секретарь – гладковыбритый киргиз в европейском костюме, отчего он походил на японца – все трое нашли случай оказаться со мной наедине и немного пожаловаться, немного порасспросить меня о положении в Санкте. Если учесть, что во время застолья я не произнес ни одного тоста и лишь пару раз отшутился более-менее удачно от словесных приставаний сотрапезников, то подобное композиционное единство трёх разговоров на горной тропе к потоку бегущих вод я мог воспринять только как толчок музы или судьбы, притворившейся музой, чтобы обязать меня описать ситуацию в самом дремучем и самом советском уголке нашей империи. Началось с того, что директор ещё во время дастархана при всех обратился ко мне, мол, к какому народному фронту, какому берегу Невы, левому или правому, я принадлежу. Я ответил, что касается берегов Невы, то я родился на левом, а живу на правом, что же касается фронтов, то я ни с кем не собираюсь вставать во фронтальное положение и готов впитывать в свою память все мнения. После дружного полупьяного смеха, последовавшего за моим ответом, стали спускаться к водораз-

делу, при этом директор и я шли, обнявшись, по круто бегущей среди цветов и колючек тропинке. Вихрастый русский мужик, родившийся здесь, в Киргизии, в узком язычке Ферганской долины, как бы по-змеиному заползшему в каменные горы, рассказывал и показывал мне, как он и откуда нырял в горную речку, ревущую у нас под ногами, ловил мальчишкой маринку, топтал недоступные тропы.

– И что? Теперь уходить отсюда? Нет, мы ещё повоюем. Азиаты власть любят. Здесь демократия невозможна. И у меня есть власть. Зря, что ли, чёрную сотню сколотил? Пусть паникёры бегут. А что у вас в Ленинграде? Скоро ли Питер скажет слово?

Мы стояли уже над самой водой, в густом облаке водопадной пыли; шамаханская царица подошла к нам и предложила мне пройти с ней ещё дальше по узкому мостку, ведущему к площадке на скале, последней точке, сотворённой руками людей среди хаоса камней и хляби. Извинившись перед директором, я последовал за ней. Когда мы дошли до описанной выше площадки, моя спутница встала спиной к воде, опершись о шаткие перильца, и сказала:

– Вот так и приходится стоять на краю бушующей толпы, того и гляди – сорвут в пропасть. Страшно. А что у вас там с Гдяном и Ивановым?

Я пожал плечами. Немного помедлив, будто вспоминая что-то, она продолжила:

– Мы вот обращались во время событий за помощью

к муллам, но в молодёжи веры нет. Они говорят мулле: «Аллаха нет». И кидают камни. Раньше, стоило тому руку поднять, и толпа замирала. Теперь чтение молитвы остановило насилие лишь на секунду, во время которой мы и успели освободить первого секретаря. А написали в газетах, что это, мол, наша доблестная милиция и внутренние войска проявили решительность. Какое враньё!

Стемнело. Пора было подниматься наверх по змеистой тропе. У пахнущего куста жасмина меня поджидал второй секретарь, взял под руку, повёл рядом с собой, шепча в ухо о дружбе, вере, Аллахе и обычаях предков. Я рассказал ему про эпизод в Кувасае, где был в тот день утром: «Почти пустой полумрак книжного магазина. Две девушки-узбечки шепчутся у полок с календарями, да я переворачиваю пыльные горы книг в поисках „Лолиты“. Вдруг в нос ударяет резкий запах кирзовых сапог и солдатского пота. В магазин вошёл патрульный отряд: пятеро ребят с дубинками вдоль ног и автоматами у пояса. Девушки забились в угол магазина, делают вид, что их очень интересуют книги на дальней полке, по свиноводству, как я разглядел, внимательно наблюдая сцену. Солдаты сначала с деланным безразличием озираются вокруг, листают томики на других прилавках, но всё-таки этих рязанских парней неудержимо влечёт к чёрным, туго заплетённым косам-змейкам, вздрагивающим на разноцветье национальных нарядов, облегающих стройные спины девушек. И вот все пятеро стоят полукругом за этими спинами

и тоже едят глазами корешки книг по свиноводству. Полнейшая тишина. С пластмассовым стуком падает на пол расчёска, выроненная из маленькой смуглой ладони вконец оробевшей пери. „Ну, теперь-то у них пойдет на лад, – улыбаюсь я. – Только бы не столкнулись эти солдаты лбами, торопясь поднять сей божественный дар, вечный спутник волос красавицы. Поднятый с полу, он поможет подружиться с нею“. Но проходит секунда, другая – солдаты не спешат. Переводят глаза в растерянности с расчёски на полу, по спинам и косам девушек и снова на книги по свиноводству, где и застывают. Напряжение нарастает. „Эх, ребята, вас и к девушке понравившейся подойти никто не учил. Бедные. Давайте, я вам покажу сейчас, как это делается“, – подумал я и шагнул в их сторону, в запах пота и кирзовых сапог. Извинившись, осторожно раздвинул спины. Они расступились. Нагнулся и поднял с пола гребень: „Это не вы уронили, девушки?“ – обратился к ёжащимся от страха спинам впереди. И, как строка из восточной сказки, стремительный взлёт ко мне чёрных благодарных глаз был наградой. Напряжение рассеялось, солдаты превратились в юношей, девушки заулыбались. „Рахмат. Хоп майли“, – сказал я и вышел из магазина, довольный победой добра и дружелюбности над скованностью и страхом».

– О, теперь вы – мой друг, – воскликнул второй секретарь, «зам» по идеологии. – Спасибо за историю, я её использую в своей работе.

Вырвавшись из объятий экспансивного зама, я сел в машину директора. Готовился разъезд гостей. Доехали без приключений.

3.

Голландский канал в Кадамжае. Чинара в Вуадиле, под которой, по преданию, отдыхал Чингиз-хан, войдя в Среднюю Азию с мечом. Быстрая вода Хамсаабат-сая, кипящая и белая, как молоко, непрерывно заплетаемая вёртками пальцами Времени в мутные узелки и расплетаемая ими же, словно в забывчивости, вновь. Здесь есть отчего забыться даже Времени... Каменная чаша причудливых бесплодных гор, окружающих оазис Шахимардана. Здесь был убит Ниязи. Здесь его мавзолей... Много мусульман. Это их святое место.

Был славный дастархан в саду на мостке, установленном над саем. Пили водку, охлаждаемую в горном потоке. Слушали хорошие тосты друзей, возлежа на суре, омываемой потоками воды и времени. Пиалу, в которой сверкала хрустальной прохладности водка или ещё более чистая ледяная вода, легко удерживать рукой снизу... Глядя на летящую воду с рождаемыми и тут же умирающими на ней плетениями влажных узлов, ощущая ладонью тяжесть округлой чаши, вдруг думаешь, что чаша эта повторяет форму ларца черепа, в котором, опрокинутом пока дном к небу, плещется, как вино в пиале, мысль и отражение в ней всего бесконеч-

ного разноцветья полуденного часа святого оазиса... Так думал я, и древний дервиш в чёрном кафтане, стёганном суровой ниткой, подошёл к нашей суре и начал кадить над ней благородным дымом лечебной травы, тлеющей в подвешенном на тёмных от времени железных цепочках котелке, который старец держал в иссохшей пергаментной руке. Я вдохнул аромат и вместе с ощущением протекшей секунды подумал: не примкнуть ли мне к какому-нибудь богу, чтобы стать подобным дереву, посаженному у потока вод? Или по-прежнему соблазнительная подвижность аравийского праха застилает мои горизонты? Иметь юную казашку Ултай женою может помочь мне только Аллах, ограничив меня строгой формой, наполнив собой, но ограничив... Довериться ли воле Бхагавана? Или это никогда не поздно, и пусть ещё потащит немного сансара жизни и смерти моё мучающееся его по каменистому ложу понимания и чувства... Как тащила сегодня, обжигая прикосновениями влажных ледяных мускулов, горная река, пересекающая святой оазис мусульман Азии.

4.

Вчера Бог говорил со мной руками, губами, словами женщины. Я познавал суть Азии через лучший вход в неё – душу и тело азиатки. Смогу ли я теперь как прежде смотреть на европейских женщин? В постели с ними скучно, даже с самой раскованной. И хорошо только до тех пор, пока па-

рус над лодкой секса раздувает ветер собственного твоего желания. С Курновой было великолепно даже в минуты, когда уже не хотелось быть мужчиной, но она будила во мне мужчину вновь и вновь естественными и стремительными ласками, переходящими от неторопливой нетребовательной нежности к властному призыву жёсткой маленькой ладони – трепетному флажку фригийской страсти. Подбадривая, она шептала щекотно в ухо:

– Узбеки – импотенты. Сделает один раз и скиснет. Вся их страстность из тысячи ночей – одни сказки.

Катя-Курновой окончила университет во Фрунзе в прошлом году. На первом курсе ей предложили за деньги сниматься нагой. Она согласилась: «А что, одна поза двести рублей стоит. Снимешься пять раз – и уже кое-что, жить можно. Да и берегли меня ребята: лицо на фото другое накладывали, никто и не узнает. А деньги на моих снимках они немалые делали. Так что – все довольны. Правда, вот сейчас у меня фигура портиться стала. Это после аварии, когда я целый год в больнице с переломами пролежала. Ну, ничего, съезжу на Иссык-Куль, позагораю одна-одинёшенька и восстановлю форму. Приедешь во Фрунзе – меня не узнаешь».

Курновой – узбечка наполовину, наполовину – киргизка. Лаская и принимая ласки её двадцатитрёхлетнего тела, я обладал Азией. Да ещё слушал насмешливую болтовню её язычка о слабосильных последователях Аллаха. «Правда, и вам, русским, как говорила моя бабушка, ещё тысячу лет

надо, чтобы людьми стать». Удивительно – в стране осадное положение, призывы расправиться вслед за турками-месхетинцами с татарами и с нами; автоматчики в бронежилетах на каждом перекрёстке, а я трахаю в перерывах между её рассказами прелестную азиатку – и хоть бы что! Это и есть – ощущать Время! И главное – удивительная свобода во всём: в желаниях, действиях, мыслях... Рассказал ей про Ултай...

– Хочешь, я тебе её приведу завтра? Только не знаю, как у тебя с ней получится, то есть девушка она или женщина. Мурат говорит, что они спят вместе, но это может быть и неправда.

– Конечно, неправда, – промечтал вслух я...

– И ты заберёшь её в Ленинград?

– Не знаю. Она сильно влечёт меня. Неужели она согласится прийти?

– Согласится, вот увидишь. Только иногда она работает в вечер, надо узнать, как она завтра. И куда тебе её привести?

– Курновой, я поражаюсь тебе. Ты прямо как Ливия – жена императора Августа. Это она подбирала своему любимому девушкам. Неужели тебе нисколько не обидно за себя?

– Мне просто хочется сделать тебе хорошо, чтобы ты не мучился напрасно. Узнаешь Ултай и перестанешь хотеть её. Правда, есть риск, что ты увезёшь её с собой. Это было бы обидно.

– Ты так говоришь, словно у Ултай нет своей воли. Она молода, красива, любит Мурата, наконец.

– Ерунда, не любит она его. И он её не любит. Так, чтобы только время провести. Они ведь приехали сюда вместе в апреле. За эти три месяца Мурат уже раз десять приставал ко мне, просился в мою постель. Да ты и сам это слышал в тот первый вечер, помнишь?

Я помнил... Тогда Курновой ответила ему, что спит только с настоящими мужчинами, а не с сопливыми мальчишками, как он. При этом она глядела насмешливо прямо мне в глаза. Ултай сидела, не шевелясь, между мной и Муратом на диване, и только краска медленно проступала на её бледных щеках...

* * *

Отупел от постоянного пьянства... Пиршество с киргизами в грозу вчера. Пьянка на даче КГБ два дня назад. Но лучшее – вчерашний день с греком Александром. Лёжа на суре над быстротекущим саем, пили водку и говорили о времени. Грек, подбрасывая на ладони старинные драхмы, тускло переливающиеся на солнце, утверждал, что всё повторяется. Я же предлагал ему различить всё-таки зазор неадекватности между любыми мгновениями, как между любыми двумя листками в огромном лесу.

Вечером меня ласкала Курновой. Ултай, правда, она привести не смогла, но и так было прекрасно. Выпили пару шампанского, и я обладал ею на всех постелях в её и моём номе-

ре. Но, начиная с середины прошедшей ночи, и до сих пор я карабкаюсь из ада собственного тела и тускнеющего сознания. Расстроились речь и письмо, механика желаний. Короче – перепой. Опохмелиться бы, но я давно сбился со счёта и не знаю, какая выпивка будет чётной... Однако, кажется, я начинаю овладевать ситуацией. Билет на самолёт у меня в кармане, договорился о лекциях во Фрунзе, короче, через два с небольшим дня я вырвусь из роскошных объятий Средней Азии в более восточный, чем среднеазиатский, Пишпек.

5.

Грусть... да, именно грусть испытываю, покидая эту странную гостеприимную землю, где, впрочем, людей убивают легко и отвратительно, как мух. Вчера к вечеру ко мне вернулся дар связной речи. У быстрой горной реки, обнимающей скользкой холодной змеёй чайхану под чинарами. Духовного или физического, чего было больше в этом малом фрагменте моей жизни? Конечно, физического. Особенно при сопоставлении его узора с прекрасными днями северного петербургского лета. Но уход в это физическое был как сказка, может быть, не всегда умная, но глубинно, по-детски мудрая. Это был, возможно, лучший отрезок моей жизни, преломляемый завтра хребтом киргизских гор. Я был пьян и здоров все эти дни, окружен вниманием, уважением, женщинами... до изнеможения.

Странно, и, пожалуй, от этого-то мне более всего и грустно: позавчера расстался с Курновой, даже не попрощавшись. Она приходила ко мне в тот день трижды. Но я устал и был не готов к объятиям. Предложил ей сходить в ресторан, она обрадовалась и побежала переодеваться. И вот, под одобрителный свист и улюлюканье её знакомых: «Катя, ты надолго? Куда? Пьянствовать?» – мы вышли на улицу. Мне было весьма неловко от такого внимания встречающихся (и почти всех её знакомых), она же было явно горда этим. В пустом и скучном зале ресторана мы провели не более часа. И весь этот час нас пристально, в лучшем случае округлив, в худшем – сузив чёрные с рыжеватыми отсветами глаза, рассматривали многочисленные узбеки, заходящие на пять минут выпить у стойки тёплой водки. Мы с Курновой представляли собой явный мезальянс: северного типа русский и яркая сверкающая узбечка с примесью киргизской крови. Только выйдя на улицу, где, слава богу, скоро стемнело, я почувствовал себя в этом внезапно ошетинившемся для меня городе хорошо.

Была прекрасная южная ночь. Я шел рука в руку с дочерью этой волшебной страны, слушая её милую болтовню. Видел, что моя спутница, похоже, немного влюблена в меня. В гостиницу мы вошли вместе. Она поднялась к себе в номер, обещая тут же спуститься ко мне. Оставшись один, я разделся, лёг. Курновой всё не было. Взял томик «Декамерона», почитал первые его страницы в жёлтом круге на-

стойной лампы. Я и хотел и боялся прихода Курновой. Мне нужна была больше нежность, чем резкая страсть. Задремал. Сквозь сон услышал её шаги, толчок в дверь, которую я не закрыл, и вот я уже в её словах и объятьях. У неё нехорошо: в училище, где она работает освобождённым комсомольским секретарём, повесился подросток. Она жалуется мне в плечо, что ей плохо здесь, никто не понимает её, хотят только обладать телом, но нет ни капли любви вокруг. Она прижимается ко мне жарким, чуть жиреющим телом. Но я не могу, не хочу просыпаться:

– Завтра у меня трудный день.

– Ну, ладно. Спи, – шепчет она мне в щёку, целует в лоб. – Я пойду?

Не отвечаю. Она приваливается последний раз к моему животу спиной, свесив уже с постели ноги, ищущие в темноте тапки. Тепло её тела входит в меня, но не успевает зажечь. Спина её выпрямляется, она встаёт и уходит, осторожно прикрывая за собой дверь.

На следующий день её подруга сказала мне, что Курновой уехала на два дня по делам в Фергану или Ташкент. Я улетаю во Фрунзе завтра утром. И больше никогда не увижу Курновой.

6.

Вчера оставил Ферганскую долину. Перелетел горы при-

мерно за час. От иллюминатора не отрывался, настолько завораживающая картина открывалась за ним. Собственно горы – суровое каменное море с белыми гребнями ослепляющего снега – продолжались минут двадцать. Безжизненное время, разделяющее надвое шахматные зелёные клетки полей и цветущие сады по склонам.

В аэропорту меня встретили, через час я уже читал лекцию, а ещё через два был в гостинице. Разложил вещи – номер сразу стал роднее и ближе. Окна выходят на панораму волшебных гор, начинающихся почти у самого цоколя гостиницы выжженной травой цвета сукна солдатской шинели. Дальше, в километрах в пяти-десяти отсюда, эта шинель незаметно переходит в великолепную изумрудную мантию, изящно уложенную на царственных плечах земли и отороченную поверху чистейшей белизны снегом.

Как и в прошлый мой приезд в Пишпек, не обошлось здесь без приключений, которым позавидовал бы любой мужчина, если бы мог поверить в их возможность. Впрочем, они и возможны для властителя нефтяного оазиса, в гареме среди пальмовых рощ, миллиардера, не пожалевшего для своей мечты миллион, или такого созерцательного бездельника, как я. Началось всё в прохладном мраморном шатре пригостиничного ресторана. Здесь, по непредусмотрительной воле надоедливового киргиза, страдающего комплексом неполноценности и хвастовства, оказался за одним столиком с целым интернационалом женщин: полька, журналист-

ка из Вроцлава и две медсестры – уйгурка и казашка. Втроём они отмечали здесь годовщину боевой дружбы, завязавшейся в Кабуле. Не знаю, каким уж это образом получилось (сила отталкивания со стороны киргиза помогла, что ли), но я увёл всех трёх женщин к себе в номер и полночи сравнивал без всякой помехи красоту их тел: ног, грудей, животов, талий, ощущая всё это глазами, губами, ладонями, мыслью... Польшка Ирена красива, но несколько холодна. Прекрасные крупные ноги её осенены нежным пухом, грудь мягка у сосцов и упруго-податлива у оснований, кожа нежна и прохладна. Уйгурка Анар (что означает по-русски «гранат») первая предложила мне свои губы, легла на постель, позволила мне, лаская руками её голые матово-гладкие, без единого волоска ноги формы, как у джорджоновой Юдифь, дойти до живота и выше. Извиваясь в моих объятьях, откидывая в иступлении страсти голову назад, за белую подушку, по которой как змеи ползали ее чёрные косы, она шептала: «Серж, Серж, мы не одни, Серж». Грудь у Анар такая же, как у Ирены, и обе девчонки не носят лифчиков. Кстати, пока я наслаждался и наслаждал Анар, Ирена молча сидела в кресле «Эзоп», курила и смотрела на наши «страдания», и только чуть вздрагивающие её ноздри выдавали волнение. Третья девушка, казашка Бахтар, стояла на балконе под звёздами и тонким серпиком растущего месяца, осенявшим горы. Чуть раньше, ещё до того, как я ушёл в лабиринт наслаждений тела, я услышал от неё небольшой рассказ, как она по-

дружилась с Иреной в Кабуле, где работала в госпитале медсестрой и где у неё на руках на её глазах родному брату ампутировали обе ноги.

Тронутый, если не сказать потрясённый её рассказом, я прочитал Бахтар написанные на севере стихи:

*«Восьмидесятый год, в Кабуле танков гул.
В России серебристые морозы.
И в Ленинграде мусульманин гнул
неслыханные цены на мимозы.
Я покупал душистый стебелёк
побега нежного, чтобы к ногам богини
успеть отнести, покуда не поблёл
цвет красок мира, что Любовь покинет».*

Я горжусь, что в этом месте Бахтар опустила голову на перила балкона, и плечи её задрожали от неудерживаемых ничем рыданий.

*«Мой продавец задумчиво смотрел
на веточку, мной выбранную... Что же?
Неужто здравый смысл не уничтожен,
хотя и начинается отстрел?
А продавец на веточку смотрел,
и сквозь морозный дым мне чудились отсветы
огней пожарщи, но любовию согреты
не были разве лучики тех стрел,
что собираются у глаз при смехе*

*и те страданием оставленные веки
на смуглой коже щёк у лба и губ,
и разве мир не всем живущим люб,
хотя любви встречаются помехи...»*

Хотя Бахтар и подружилась с Иреной в Кабуле, где та работала журналисткой, но запретила читать это стихотворение ещё раз, когда та вышла на балкон.

– Пусть это будет только для меня... Самый мой счастливый день сегодня. Я никогда не встречала таких людей, как ты...

Губы Бахтар – словно нежный бутон распускающейся розы, руки порывисты и жарки, а груди её я не касался. Эта девушка была более красива душой.

7.

Светлеют горы. Жду Анару. Голова кружится после вчерашней пьянки. Уверенности нет. Да и не записывал я давно уже ничего в этот блокнот. Хотя происходило многое. Но сейчас я должен запечатлеть ожидание. Когда она придёт? Или помешает что-нибудь? И как получится у нас сегодня? Позавчера было хорошо говорить, но в постели я был слаб. Мне никак не удавалось насладиться, да и Анара не особенно помогала мне. Обидно, что сейчас, когда всё само шло в руки и многое я держал в них, мне не хватило внимания, чтобы запечатлеть. И сколько возможного я

упустил! Но насладился током времени вполне, пропуская его через каждый краешек плоти, уголок сознания, управляя в своевольном и неумолимом его течении слабым, но и могущественным движением пера.

Даже сейчас, когда голова кружится от вчерашней пьянки, по-видимому, напрасной, я смотрю в окно на горы, и вдруг они качнулись – воздух между мной и ними был поколеблен, и я осознал всю зыбкость неменяющегося пейзажа, движущегося вместе со мной от секунды к секунде в волне времени. И именно гора и небо с облаками и птицами над ней, белые домики среди кипарисовых свечей у её подножия, я, сидящий в кресле «Эзоп», – всё это тонет, тонет во времени, а слабое движение руки, удерживающей перо, стремительней и легче времени и потому не потопляемо в нём. Внезапный дождь, как брошенная чьей-то рукой прозрачная сеть, мягко опустился на гору и аул у её подножия.

Пожалуй, Анара не придёт. У меня заболело горло. Впервые в этой поездке я, кажется, немного простыл. Если Анара не придёт, я буду записывать всё, что происходило со мной в последние три дня. Хватит, чем заняться. Или буду записывать то, что окружает меня сейчас...

...Нет, всё-таки кто-то определённо хочет помимо меня удержать этот пейзаж, поймать его, словно бабочку, во влажную вуаль мягко набрасываемого дождя. Едва первая ткань была порвана кинжальными ударами солнечных лучей, и пейзаж вырвался и загудел, как шмель, мириадами

цикад в траве и птиц в поле перед горою, как второй взмах огромного сачка в чьей-то невидимой руке мягко и могущественно снова заполонил его. Но опять – на секунду! Вновь солнце разрывает ткань, и снова – взмах. Снежные горы встали из серого марева на горизонте, в двадцати километрах от меня, от белизны блокнота у меня на коленях – их сверкающая белизна. Странно, почему Анара не приходит? Может быть, помешал дождь в горах? Может быть, дорога между нами размыта, завалена камнепадом. Стук!

Но боже, это не она. Это другая женщина, которую я не захотел удерживать у себя, отпустил её через пять минут. Она спросила только, нет ли у меня её подруги, и, убедившись, что нет, спросила ещё, как съездить на Иссык-Куль. Я ей всё объяснил и проводил до двери прохладного моего номера, моей норы, в которой так хорошо и которую я не хочу покидать ни сегодня, ни завтра, возможно.

Итак, судьба распорядилась, чтобы я оставался один, в заточении, что ли, и описывал всё, что вижу вокруг и в себе, словно на листе памяти, стремительно сворачивающемся, как свиток, в тёмный тугой рулон, из которого уже ничего не прочтёшь. Но куда лист не свернулся в темь, и есть ещё свет, в котором можно читать... Муха ударилась, как чёрная точка, в стекло, побилась в него и улетела серпообразно стремительно на соседний балкон. И снова я один. А женщина, которая сейчас ко мне заходила, кажется, слегка влюблена в меня, по крайней мере, так говорила её подруга, с ко-

торой я провел позапрошлую ночь на балконе, читая стихи, обнимая её нежную, гибкую, как лиана, талию, вдыхая запахи горных трав, привезённые ею в длинных льняных волосах со склонов соседних гор.

Анара пришла с Бахтар и очаровательной дочуркой Зариной, маленькой, как куколка, одетой в белое платье, с громадным голубым бантом в чёрных волосах, серёжками в смуглых ушках, толстощёкой, белозубой, смеющейся. Зарина, играя, звонила по телефону своей младшей сестре Кристине. Трагедия в том, что у этой девочки нет отца, он погиб полгода назад в автокатастрофе. Девчушка – дочь двух народов, немца Петра Рифета и уйгурки Анары Медетовой, как я хочу, чтобы ты была счастлива в этом не очень-то улыбчивом мире, который взглянул на тебя уже так рано исподлобья угрюмо. Дай тебе счастье Бог.

Пили шампанское. Пока дочь играла с моими светозащитными очками и ела виноград с её гор, я, насколько позволяли, вернее, не позволяли обстоятельства, ласкал мать и принимал её ласки. Вышли на балкон. Зияющая в никуда воронка времени стремительно закручивала нас, уводя в своё узкое горло до полного истончения всякой плоти. Прощание! Это как последние песчинки, скатывающиеся с верхней чаши кока-коловых песочных часов в безразличную пустыню внизу, над которой, словно мираж, висят ещё эти три-четыре крохотные песчинки, становящиеся дорожкой золота, и цена их растёт, пока они не упали на дно, к своим безучаст-

ным братьям. Они падают, вырастая в размерах до камней беззвучного горного обвала, погребаяющего под собой онемевшее призрачное счастье человека.

14 июля.

Последнее утро в Пишпеке. Оно полупрозрачно. Снежные вершины видны, как будто через толщу воды, на дне огромного озера, самые дальние едва различимы во мгле. Ближние изумрудные горы не так сочны, как утром неделю назад, и так и хочется подкрутить ручки насыщения и контрастности на этом «дисплее».

Не жарко. На балконе даже прохладно, когда пробегает по телу быстрыми прикосновениями своих многочисленных и почти бесплотных пальцев ветер с гор. Вещи собраны. Осталось положить в сумку блокнот и перо. Место для них оставлено. Жду, вернее, уже почти не жду теперь Анару. Хотя бутылка шампанского охлаждается под холодной струей. Выпью не за любовь, так за Французскую революцию. Через полчаса. Когда перестану ждать. Выпью, пожалуй, один. Прощай, Азия. Здравствуй, Санкт, святой город, колыбель, раскачивающаяся всё сильнее и сильнее. С мрачной улыбкой обещания грядущего на губах.

Сейчас я откупорю шампанского бутылку и подниму пенящийся бокал за двухсотлетие Великой революции. Марат, Робеспьер, Дантон, Камилл де Мулен, Мирабо, Сен Жюст, Боунапарте пусть пройдут сквозь время к моему стоящему

у цепи Киргизских гор столу и выпьют со мной из бутылки с советским шампанским... Будущее не ясно, прошлое темно, и только два-три факела в этой тьме озаряют годы вокруг. За одну из этих вспышек света среди крошечной тьмы я и буду пить.

1989

Аппиева дорога

В основу положены действительные события января 52 года до н. э., происходившие в Римской республике накануне её падения. Поэтому автор считает необходимым представить список реальных исторических лиц, упоминаемых в тексте, а также лиц, не известных истории, что не мешает им, однако, быть реальными. Длительные размышления и логика событий убедили меня в существовании Сцепия Тронция, Феодора, Гудрунхен и ещё двух-трех персонажей, имена которых приводятся ниже.

ПОПУЛЯРЫ, народная партия:

- МАРИЙ, Гай (Gaius Marius), 157—86 гг., трибун 119 г., претор 115 г., консул 106 г., 104—100 гг. и 86 г.
- СЕРГИЙ КАТИЛИНА, Луций (Lucius Sergius Catilina), ок. 108 – 62 гг., претор 68 г., организатор заговора против сената в 63 г.
- КЛОДИЙ ПУЛЬХЕР, Публий (Publius Clodius Pulcher), 93—52 гг., трибун 58 г., вождь плебса.
- ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ, Гай (Gaius Julius Caesar), 102/100—44 гг., квестор 68 г., эдил 65 г., верховный понтифик с 63 г., претор 62 г., консул 59 г., 48 г., 46—44 гг., проконсул Галлии в 58—54 гг., диктатор на 10 лет с 46 г., пожизненный диктатор с 44 г.
- АНТОНИЙ, Марк (Marcus Antonius), 83—30 гг.,

начальник конницы у Цезаря, впоследствии триумвир.

- ЭМИЛИЙ ЛЕПИД, Марк (Marcus Aemilius Lepidus), 83—13/12 гг., претор 49 г., консул 52 г. (отстранён от магистратуры в январе) и 46 г., после смерти Цезаря великий понтифик.

- АННИЙ МИЛОН, Тит (Titus Annius Milo), трибун 57 г., ставленник оптиматов.

ОПТИМАТЫ, партия сената:

- КОРНЕЛИЙ СУЛЛА, Луций (Lucius Cornelius Sulla), 138—78 гг., квестор 107 г., претор 93 г., пропретор 92 г., консул 88 г., диктатор 82—79 гг.

- ПОМПЕЙ МАГН, Гней (Gnaeus Pompeius Magnus), 106—48 гг., консул 70 г., 55 г. и 52 г.

- ПОРЦИЙ КАТОН МЛАДШИЙ, Марк (Marcus Porcius Cato Minor), 95—46 гг., квестор 65 г., претор 54 г., трибун 62 г.

- ТУЛЛИЙ ЦИЦЕРОН, Марк (Marcus Tullius Cicero), 106—43 гг., квестор 75 г., эдил 69 г., претор 66 г., консул 63 г.

- ФАБИЙ МАКСИМ (Fabius Maximus), патриций. Род Фабиев участвовал во всех исторических событиях Римской республики.

Прочие:

- КЛОДИЯ, воспетая под именем Лесбии в стихах Катуллы, сестра Клодия Пульхера.

- СЦЕПИЙ ТРОНЦИЙ, патриций, землевладелец из Лация.

- АЛЕБОРГАН, посол племени лугиев.
- ГУДРУНХЕН, племянница посла, символ объединения германцев.
- ФЕОДОР, грек, раб Клодия.
- КРАТИЛ, клиент Милона.
- КЛАВДИЙ СЛЕПОЙ, Аппий (Appius Claudius Caecus), цензор 312 г., консул 307 г. и 296 г. В год своего цензорства проложил первую римскую мощёную дорогу, названную впоследствии Аппиевой.

1.

В пятый день после январских нон года консульства Помпея Магна и Марка Лепида граждане общины собрались на Форуме. Это был эпизод борьбы, разгоревшейся со времён Мария и Суллы, между теряющей могущество партией оптиматов и народным недовольством, искусно подогреваемым честолюбивой молодёжью из патрицианских родов. Решался вопрос: заключать ли мир и союз с германским племенем лугиев, чтобы набрать вспомогательные войска для дальнейшего ведения войны в Галлии, или отпустить посла без мира, вынуждая Цезаря вернуться в Рим без триумфа.

Дело оптиматов оказывалось под угрозой. Пока удачливых честолюбцев хватало, можно было маневрировать, настраивая одного на другого, но теперь их число стремительно сокращалось, а могущество остающихся ещё более стремительно росло. Настал день, когда демократия, выражавшаяся в отсутствии чьей-либо определённой власти, могла

сохраняться только благодаря скованности Цезаря, ведшего трудную войну в Галлии, и благодушию Помпея, отдыхающего в Риме от войн. Первые явные успехи Северных легионов разбили бы зыбкую идиллию республиканцев. Ещё раньше под предлогом расширения военной экспансии Цезарь требовал у сената денег для набора вспомогательных войск. Теперь союз с полувраждебными германцами был бы для него неожиданной удачей, слишком крупной, чтобы не вызывать у сената тревогу.

Не менее беспокойно складывались дела в Городе. Римская беднота и приведённые Помпеем с Востока ветераны надеялись только на перемены. С тех пор как трибуну Клодию Пульхеру удалось ограничить власть цензоров и даже добиться изгнания лидеров оптиматов Катона и Туллия, римский плебс, этот «колосс без головы», обрёл, наконец, голову. И хотя партия сената сумела, играя на честолюбии Милона – другого народного вождя, нейтрализовать успехи популяров, равновесие было непрочным.

Пять лет на улицах города шли кровопролитные бои. В этих столкновениях народ сам сдерживал своё недовольство. Однако, как хорошо понимали сенаторы, политическая игра не в силах прятать правду до бесконечности. Любое голосование, даже по незначительному поводу, могло подорвать популярность Милона. И тогда Клодий стал бы неудержим.

В описываемый день комиции на Форуме затрагивали

глубины жизни государства – решалась его судьба. Гудение собравшейся под открытым небом толпы сплеталось из отдельных выкриков, восклицаний, угроз и жалоб людей, каждый из которых имел всего лишь один голос, всего лишь один сжатый в кулаке камешек, и его предстояло бросить в урну «ЗА» или «ПРОТИВ». Что значит «ЗА» и что значит «ПРОТИВ», объясняли ораторы, придавая однозначные юридические формулировки противоречивым чаяниям многих и многих людей. Народ не слышал, да и не слушал выступавших, ибо для большинства «ЗА» и «ПРОТИВ» означало: за или против Клодия.

- Тише, тише. Пульхер на возвышении. Что он говорит?
- Неважно. Главное, нас он не оставит, своего добьётся.
- Он всегда своего добивается, наш Клодий.
- Верно! Кто прогнал мерзкого законника Туллия?
- Клодий!
- Кто убрал на Крит брюзгу Катона?
- Наш красавчик!
- Кто наставил рога самому Цезарю?
- Ерунда! Цезарь мечтал избавиться от Помпеи.
- Но в суде он сказал, что ничего не знает...
- Да здравствует Цезарь!
- Кто плохо говорит о Цезаре? Кто...
- Успокойся, никто не трогает Цезаря. Все знают: Клодий и Цезарь – друзья. Куда Цезарь – туда и Клодий, куда Клодий – туда и Це...

– Друг у друга девчонок отбивают, по одним шатаются тавернам.

– Здорово сказано!

– ...и сейчас, что говорил Клодий? Заключить союз с Алегорганом. Зачем? Чтобы Цезарю набрать дополнительные когорты из германцев.

– Слава Помпею! Долой Цезаря! Пусть гниёт в галльских болотах. Помпей Великий несёт нам роскошь и изобилие. Он даст Риму золотой век.

– Заткнись! Помпей перестал быть воином. Он спит. Что сделал он после Митридата?

– Слушайте, слушайте! Сейчас объявят, добился ли Клодий своего.

Громовой рёв восторга одних, смешанный с негодованием других, прокатился над Форумом, когда объявили, что в результате вольных комиций победило предложение трибуна Клодия: заключить союз с германцами, но на переговоры поедет Милон.

– Долой Милона! Эввива Клодий! – неслось со всех сторон площади.

Огромный господин в сенаторской тоге прежде, чем скрыться в прохладе паланкина, кивнул стоящему рядом молодому человеку:

– Похоже, это Туллий, хитрая лиса, добился такого двусмысленного решения.

– Да... – в досаде юноша поджал губы, – Милон дого-

ворится скорее с весталкой в храме, чем с Алеборганом, – вдруг оживился: – Ого, смотри скорее: кажется, громят курию.

На возвышении для ораторов вновь появился Клодий. Медленным движением подняв и раскинув, словно для объятия Форума, руки со свободно свисающими складками широкой тоги, он заставил народ успокоиться и замолчать. Мгновенность такого перехода воспринималась как чудо. В наступившей тишине все услышали одно только слово, последний звук которого потонул в сладострастном рёве побеждённой нескрываемой лестью толпы:

– Квириты!

2.

Поздним вечером в просторной комнате дома на Палатине разговаривали двое. Хозяин, худой и длинный, с лицом бледным, как восковые изображения его же собственных предков в атриуме, и гость, недавно переступивший черту «акме», черноволосый, густобровый, загорелый. Наливая вино в кубки, хозяин продолжал:

– ...своего мы добились – едет Милон, надо поддержать его достаточно сильной свитой. Пусть возьмёт головорезов с Субурры – от Клодия можно всего ожидать.

Помолчав немного, гость возразил:

– Вряд ли Пульхер помешает нам чем-нибудь сейчас. Од-

нако Милону и без того трудно. Толпа требует союза с германцами, и, как ни тупы милоновы дружки, они поймут, если он будет действовать, вернее, бездействовать, слишком явно. В лучшем случае переговоры затянутся до весны.

– Этого и достаточно. Не позднее марта мы проведём в сенате закон о снятии проконсульских полномочий с Цезаря. Ну... а Помпей сильно увлёкся греческим, и мы не станем препятствовать развитию его литературных пристрастий.

Собеседники переглянулись довольные, словно знатоки игры латрункули, оценившие удачный ход. Пламя факелов дёргало и рвало темноту триклиния. Говоривший последним приподнял чашу:

– Твоё здоровье, Марк Туллий. Ты весьма кстати вернулся... Ха-ах, хорошее вино. Признайся, там, в изгнании, ты, верно, и забыл вкус фалернского?

– Нет, Фабий. К счастью, проконсул снабжал меня всем необходимым... Мм... Вино твоё действительно прекрасно... и, ты знаешь, там я чувствовал себя меньше изгнанником, чем в Городе. Здесь все меня ненавидят, народ зовёт «мерзким законником», хорошие люди – выскочкой. Прямо не пойму, кому обязан переменой места.

– Ну... разве ты не знаешь: Город не любит тех, кто в нём, и обожает отсутствующих. Особенно – удачливых полководцев. Вот почему Цезарь тем опаснее, чем он дальше.

Лицо Цицерона дёрнулось, словно от боли:

– Безумцы! Почему они не могут понять: если дать Цеза-

рю сделать, что он хочет, наша гражданская община расплывётся, как старое рубище странствующего философа-грека. Чем им не нравится тога? Её ткань прочна, в ней свободно движениям, она одинаково защитит от зноя и непогоды...

– Она не всем по плечу, Марк. Опять-таки у неё нет карманов, а жить на одно красноречие, оставив торговлю плебейам, могут позволить себе немногие. Слово Рима всё с большим трудом переходит в дело. Восток пал под натиском наших легионов, рассыпался в прах, но именно этот прах, а не хрупкие деспотии, является его истинной структурой. Наше оружие не изменило его, а обнажило, сделав явным то, что скрывалось – господство случайного и произвол. И именно в этом, истинном своём виде, Восток стал врагом идеи Города. Наша сила теряется в его многоликости, обнаруживает раскол в самой себе. Я не удивлюсь, если через десять лет мы увидим на берегах Тибра царицу не как пленницу, а с многочисленной свитой, поражающей наших зевак роскошью. Я не удивлюсь, если ещё через полста лет произвол безумца будет править Городом, закрывая собрания плащом страха, загоня Слово в ущелье шёпота.

– Не дай бог дожить до таких дней, Фабий. Хотя ты и из рода Медлителя, не будешь медлить, пока безумие одного и трусость других погасят свободное пламя слова. Ведь в этом пламени – свет, свет далёкого смысла, намекающий на выход из нашей темницы, и в луче которого мы так недолго и бестолково кружимся.

Фабий медленно растянул серые губы в улыбку:

– Марк, вчера на рынке я купил интересный свиток. Перейдём в библиотеку, я тебе его покажу, тем более что твои слова заставили о нём вспомнить.

Когда друзья, покинув триклиний, поднимались по сводчатой галерее открытой лестницы на террасу, где в специальном помещении Фабий держал манускрипты, внимание их привлекла стройная рабыня с упругой высокой грудью, которую она, обнажённую, подставляла лунным лучам. Цицерон в недоумении вскинул сросшиеся над переносицей брови.

– Это Урсула. Мне её привезли из Германии. Не удивляйся, Марк, у них сегодня какой-то праздник. Кроме того, германские девушки верят, что от лунного света кожа становится матовой. Ну, вот мы и пришли, – Фабий открыл дверь, пропуская гостя.

Помещение правильной кубической формы было залито колеблющимся светом масляных ламп. Только в круглое отверстие в потолке вливалось чёрное небо, усыпанное мириадами звёзд. Было прохладно. По бокам, на возвышениях вдоль стен, лежали многочисленные таблички, стояли ларцы из дорогого дерева. Фабий открыл один из них и вытащил свёрнутый папирус, поднёс к глазам Цицерона жёлтое полотно, испещрённое греческими каракулями: «Представьте себе пещеру и людей в ней, сидящих спиной к выходу так, что отблески дневного света они видят на глухой стене перед собою. Пусть кто-то пронесит мимо входа в пещеру силуэты

животных, людей, растений, чтобы тени от этих силуэтов были видны сидящим напротив стены. Не будут ли они думать, что то, что видят, и есть реальность, единственно существующее? Если вывести такого человека на свет, то глаза его заслезятся, и он будет закрывать их руками в поисках тьмы».

Порыв ветра покачнул пламя в зале. Цицерон поднял глаза на Фабия, потом ещё выше – к звёздам. Оторвавшись взглядом от них, вновь стал всматриваться в буквы на папирусе. Их было не меньше, чем звёзд. Зелёные лучи достигали букв, царапали по папирусу, старались сплестись с чёрной, завязанной в узелки нитью строки.

Фабий смущённо улыбался серыми бескровными губами.

3.

– Опять, Феодор, ты подставил щёку Кратилу! Ты что, не можешь постоять за себя? В конце концов, это наносит ущерб и моей чести. Любимый раб Клодия терпит побои от жалкого милоновского ублюдка!

Длинный, согнутый в три погибели грек вытирал полрой фартука ступни римлянина. Мягко подняв глаза, ответил:

– Господин, через это я обрету спасение.

Будто бы нарочно ждавший звучания последнего слова, римлянин заговорил с поспешностью, с какой начинает действовать человек, в чьи сети попала, наконец, долгожданная добыча:

– Спасение? Зачем? Я вовсе не уверен, что в тебе, да и во мне, разумеется, что-либо надо спасать. Пусть себе гибнет. Спасать! Откуда у людей возникла такая вздорная мысль? По-моему, это просто трусость, и стоит ли для оправдания низкого инстинкта плести доводы. Ну, вот ты, Феодор, что ты стремишься спасти? Что в тебе есть столь драгоценное, чему грозит неотвратимая гибель, и что необходимо тем не менее сохранить? Да и для кого? Кому ещё, кроме тебя, нужно само сознание и память о твоём существовании?

Не отрывая рук от мозаики пола, с которой он собирал расплескавшуюся воду, грек возразил с достоинством:

– Господин, выслушай хоть раз, не накидываясь на слова с поспешностью демагога. Ты ведь не в суде и не на Форуме. Ты – с самим собой... Пойми, важно не спасение, а путь к нему. Путь любви и единения. Путь, указывающий нам на чувство неотвратимой вины перед всем живущим, вины за то, что оно живёт, а значит, страдает. И эта вина даёт нам силы любить. Любить, ничего не желая для себя. Это главное. В этом смысл нашей жизни сообща. Именно этим – мы люди, а не свора раздирающих друг друга собак.

Грек распрямился, чтобы передать вошедшей рабыне таз с плавающими в нём цветочными лепестками. Затем продолжил:

– С тех пор как Эпикур научил нас свободе, свободе в движении атомов, у нас появилась возможность выбирать. Выбирать и нести ответственность за делаемый выбор. И эта от-

ветственность порождает вину. Вина – атрибут волепроявления, и даже больше, она – атрибут самой жизни. Ибо жизнь есть свобода, та, что приводит в восторг мудреца и ставит в тупик невежду.

– Мудрец, свобода, невежда – пустые слова, – римлянин раздражённо поднялся, сам завязал сандалии. – Между ними нет разницы. Да и согласно тому же Эпикуру, что такое человек? Страдающие атомы. Когда они рассеются в безграничном пространстве, исчезнет и страдание. И будут ли атомы помнить о том страдающем, кого они составляли когда-то? Вряд ли!

Удар гонга, возвещающий о приходе гостя, прервал беседу. Феодор склонился и неслышно ушел в боковую дверь. Шёлк занавеса над главным входом с шумом раздвинулся, пропуская загорелого гладиатора в дешёвых доспехах:

– Антоний приветствует Клодия!

– Входи, Марк. Я тебя не сразу узнал, хотя маскировка примитивная. Всё-таки тебе никогда не хватало вкуса. Но об этом после. Я вижу, ты сильно устал.

– Да. Пока нашёл тебя в Риме, пришлось выпить изрядное количество неразбавленного. Клянусь Геркулесом, в каждом кабаке меня узнают. Давно государственные преступники не пользовались такой популярностью. Ты бы видел, как эти пьяные хари преобразуются, силясь принять выражение, достойное судеб мира. А судьбы мира решаются чуть ли не на виду у последних попрошайек и девиц, занимающихся

ремеслом на дому. Я сам удивляюсь, как ещё не схвачен сторонниками Катона. Где мне возлечь? Здесь? У-у-у, как вкусно пахнет едой...

– Он слишком порядочен, Марк. Не шатается по кабакам и своих друзей отучает от этого. Вот Туллия стоит поостеречься. Но в моём доме ты в безопасности. Клиенты не смыкают глаз, как ждущие счастливого случая любовники у дверей красотки.

– Я никого не видел...

– ...Значит, они научились не бросаться в глаза. Но перейдём к делу. Что нового в Галлии?

К этому времени рабы Клодия, сновавшие по палате миро приветствующих друг друга римлян, успели уставить стол яствами и питьём. Голодный Антоний без церемоний принялся за еду и теперь, запивая огромным глотком голубя, запечённого в тесте, мотал головой из стороны в сторону. Справившись, произнёс:

– Скверно, Пульхер. Наши надежды там связаны с твоими успехами здесь. Нам нужен мир и союз с германцами, нам нужны вспомогательные легионы, чтобы прорубать нити дорог вглубь смрадного болота, названного, будто в насмешку, Галлией. Мы давно уже не воюем, Публий. Мы бродим по пояс в зловониях, продираемся сквозь дикие заросли, мёрзнем, голодаем, до изнурения работаем на рубках и осушениях. И этому не видно конца. Мы там завязли. Даже самые выносливые довели до предела свою волю. Вот-вот –

и всё рухнет. На сходке перед моим отъездом в Рим Цезарь обещал воинам немедленную помощь. Если она не придёт, спасать придётся его самого.

Клодий встал с изящной низкой кушетки и сделал несколько шагов наискось залы:

– Марк, я могу тебя порадовать. Вчера нами был проведён закон о союзе с варварами, которых представляет... Алеборг, кажется?

– Алеборган! Я его знаю – отличный воин! Познакомился с ним по пути сюда, в Анунции. Они живут там на правах почётных гостей Рима. Кто будет вести переговоры? Ты?

Клодий поморщился:

– На это моего красноречия не хватило, а твоё было негде занять. Едет Милон, а я нужен в городе... И благодарите меня и богов, что Цицерону не удалось добиться большего.

Поднявшись неожиданно легко, Антоний встал напротив Клодия и, взяв его за плечи, посмотрел прямо в глаза:

– Это всё меняет, Пульхер. Неужели ты не понимаешь, что переговоры Милона о мире равносильны войне? Чего же ты добился? Восторженного рёва толпы? Сестра пришлет тебе новых поклонниц? Или ты напишешь главу в учебник риторики? Цицерон, не открывая рта, переговорил тебя, да так, что это понятно только нам четверым, включая Цезаря. Это поражение, Клодий. Поражение, притворившееся победой. И тем оно коварно, ибо никто не приходит на помощь победителям.

Немного помолчав, Антоний добавил:

– Ты должен опередить Милона в Анунции!

– Успокойся. Я никуда не еду, – освободившись от рук собеседника, Клодий подошёл к шкафу у стены и достал из него вощёную табличку и стиль. – У сестры завтра праздник. Я обещал быть. Хочешь, пойдём вместе, выпьем фалернского... и, ладно-ладно, ещё раз обо всём переговорим.

– Если мне не изменяет память, завтра годовщина победы над Митридатом. С каких пор сестра Клодия отмечает успех Помпеева оружия?

– Это совпадение, Марк. Неслучайное, если учесть, что Клодия празднует дюжину раз в декаду, – Пульхер на секунду задумался, сделал несколько записей и спросил: —Однако почему ты сказал про посла варваров «они» – «они живут в Анунции», ему что, позволили подъехать к Риму со свитой?

Антоний, полуприкрыв лицо ладонью, чтобы спрятать усмешку, быстро, словно чёрный камешек бросил, глянул одним глазом на Клодия:

– Нет, Пульхер, кроме десяти германцев-телохранителей, никакой свиты. Не парься, закон соблюдён. «Они» я сказал, имея в виду племянницу посла, внучку вождя, погибшего при Секстиевых Аквах. Её дед стал героем нового эпоса. Его подвигам поклоняются как святыне несколько враждующих германских племен. Отец погиб недавно в Паннонии, когда девушке не было шестнадцати вёсен, и вот уже два года с тех

пор Гудрунхен является символом объединения германцев.

– Она хороша?

– Для символа даже слишком. В нашем мире такая красота вызвала бы раздор и войну, может быть, страшнее Троянской. Думаю, что и германские вожди неслучайно держат Гудрунхен подальше от своих глаз и от молодых воинов. А девушка прямо-таки бредит Римом, вполне сносно владеет нашим языком. Ты знаешь, она читала твои речи и ставит их много выше Цицероновых и даже записок Цезаря. Некоторые пассажи она заучила наизусть и, когда узнала, что мы друзья и что я тайно еду в Рим для встречи с тобою, весь ужин умоляла разрешить ей, переодетой воином, участвовать в приключении. Посол, сделав вид, что сердится, отослал племянницу в спальню, но, оставшись со мной, всё посмеивался в рыжую бороду, довольный: «Отчаянная девчонка! Это она в Хильдебранда».

Публий, усмехнувшись, пожал плечами, задумался, потом спросил:

– Кажется, Анунций лежит на Аппиевой дороге?

– Да, этот городок лежит на дороге, проложенной твоим предком.

Отдёрнув шелк занавеса над входом, Клодий позвал раба, отдал ему исписанную табличку:

– Сестре!

Подошёл к Антонию:

– На Аппиевой дороге у меня две виллы, управляющих

которых я давно хотел проверить. Слушай, Марк, я еду в Анунций завтра же, после праздника у моей сестры, где мы с тобой упьёмся фалернским.

Антоний, довольный, не скрывая радости, сжал ладонями плечи Клодия:

– Я не сомневался в этом, Публий. Ты – первый распутник в республике и, думаю, в империи упрочишь репутацию. Однако надо предостеречься от козней Цицерона. Порция, согласно твоим же словам, я меньше опасуюсь. Он слишком наш враг – ему чуждо вероломство и сопутствующая вероломству предусмотрительность.

– Да, помню. На этот случай у меня есть дельный человек. Феодор, выйди!

Антоний невольно вздрогнул, когда из боковой двери триклиния вышел согнутый грек.

– Не обижайся, Марк. С тех пор, как меня едва не обожествили на Форуме, я никому не верю, кроме этого раба. Он всё устроит. Пока мы будем пировать у Лесбии (о боги!), у моей сестры – я хотел сказать, так вот, пока мы будем пировать у Клодии, этот грек (ты слушаешь меня, Феодор?) побывает у Сцепия Тронция и узнает, сколько брать с собой людей, ехать верхом или в паланкине и прочее.

– Ты веришь в гадания?

– Марк, ты огрубел в Галлии. Сцепий не верит в богов. Он не предсказывает даже погоду. К его советам я прислушиваюсь только благодаря их мудрой дельности.

Сделав небольшую паузу, чтобы отпить вина, Клодий обратился к греку:

– Феодор, иди, приготовь нам пиршественные венки и одежду.

Когда раб удалился, Антоний, расплёскивая фалернское, отодвинул свой кубок:

– Я готов видеть задирающими тунику твоей сестре ещё сотню варваров в дополнение к предыдущим, но терпеть твоим конфидендом грека?..

Клодий снисходительно улыбнулся:

– Что делать, что делать, Антоний. С тех пор как Цицерон изгнал Катилину, достойных римлян не осталось в Городе. Вот вернётся из Галлии Цезарь с конницей – мы с сестрой переменим свои привязанности. А пока, Марк, выпьем, чтобы это время настало как можно скорее.

4.

Отмечалось десятилетие победы над Митридатом. В центре Форума был сложен огромный костёр. Подростки бросали в него буллы – кожаные мешочки с зашитыми в них детскими волосами. Кривая Субурра была запружена людьми. Огонь факелов освещал лица. Кое-где сверкали ножи, тут же гаснущие под тканью плаща или тоги. Напившиеся дешёвым вином юнцы сбивались в злые толпы, визжали под взмахи рук заводил-переростков:

– Помпей – император!

В темноте портала храма Геркулеса кто-то, прячась среди колонн, закричал:

– Преторианцев – на небо!

Через мгновение замшелые стены озарились факелами стражи. Раздался истошный вопль, испугавший кровельных голубей. Птицы взлетели, сделали круг и снова устроились на привычном месте – в коленях каменных богов.

Феодор спешил, огибая стремившихся к столкновениям пьяных гладиаторов. Пока господин пировал у сестры, ему надо было посоветоваться со Сцепием Тронцием о составлении тайного договора, обсудить юридический аспект такого действия и риск возможных последствий. Фактически это был заговор, хотя закон не нарушался – ускорялось лишь его действие. Как бы то ни было, к советам Сцепия полезно прислушаться. Феодор любил бывать у чудака-римлянина. Владея богатыми поместьями в Лации, этот аристократ тратил почти весь доход не на раздачу подарков избирателям своей трибы с целью добиться сенаторского достоинства, не на взятки должностным лицам, наконец, даже не на роскошь частной жизни, а на покупку каких-то сомнительных устройств и приспособлений александрийских механиков, греческих и халдейских текстов по физике и медицине, семян диковинных растений, привозимых купцами из Индии и Абиссинии. Из всех рассказов о богах и героях древности Сцепий верил только в историю Пигмалиона, художни-

ка, оживившего своё творение. Указывая на совершенство форм греческих статуй, он утверждал, что если во власти человека повторить в мельчайших деталях геометрию тела, то остаётся дело за физикой, чтобы найти материал столь близкий к человеческой плоти и крови, что при соединении его с найденной скульпторами формой он сам наделится душой и разумом. Такой прямой взгляд на тайну жизни, исключаящий сладкую неподвижность мечтаний и смуту надежд, был чужд Феодору, но вместе с тем привлекал его ясностью и глубиной. Слушая Тронция, Феодор, казалось, смотрел в бездну, но насколько хватало сил видеть, эта бездна была прозрачна и чиста.

В практической жизни советы Сцепия были просты и в то же время неочевидны. Поступавший согласно его словам шёл к цели кратчайшим путем, не вызывая подозрений у врагов. Логика римлянина настолько отличалась от методов и действий сограждан, что даже самый хитроумный политик не мог определить его цели. Кроме того, Тронций отлично знал право и был другом Цезаря. Это и определило решение Клодия посоветоваться с ним перед поездкой в Анунций.

Дом Сцепия в самом конце Субурры поражал в этот вечер царящей в нём тишиной. Феодор постучал в дверь чугунным кольцом, свисавшим из львиной пасти, и, когда раб-привратник откликнулся, назвал своё имя.

– Входи, Феодор. Хозяин наверху и, думаю, будет рад ви-

деть тебя, хоть одного трезвого человека в этот сумасшедший день.

Тронций возлежал в комнате, освещаемой только факелами и огнями улицы. Крики и пение, доносящиеся снизу, сливались здесь в однообразный гул, похожий на рёв погребального костра. Феодор кашлянул, боясь голосом нарушить задумчивость римлянина.

Сцепий с видимым трудом вышел из неподвижности и обернулся:

– Феодор?

– Прости, Тронций, я помешал тебе.

– Да нет же, я рад. Как ты кстати. Помоги разогнать унылые мысли.

– Тебя огорчает праздник?

– Он смущает меня. Как раз сегодня я закончил опыты с подвижным истуканом – ты видел его у меня в мастерской. Я хотел вызвать у машины движение, напоминающее проявление человеческой радости, но щёки, выстланные изнутри мышцами лягушачьих лап, не смогли сложиться даже в жалкое подобие беззаботной улыбки. Сколько же труда и преград отделяет нас от воссоздания в подробностях одного только дня праздничного города, с бестолочью ликований, морем случайных улыбок, шумом миллионов дыханий. Я не говорю о том, что на такую реконструкцию уйдут другие дни, которые тоже надо будет восстановить.

– Ты шутишь, Тронций, горько смеёшься над Феодором

и над собой, может быть, тоже. Я ещё могу поверить, точнее, смутиться твоей догадкой, что душа – это всего лишь подробность тела, завершающая и главнейшая, но подробность... однако всерьёз верить в возможность описанного сейчас... Может ли дыхание быть неуловимым, если оно кем-то создано, измерено и записано впрок? Нет, Тронций, ты оживишь камень, но только если заставишь его быть свободным.

Римлянин улыбнулся, оценивая парадоксальность вывода, но всё-таки возразил:

– Свободным? Но от чего? Если он будет свободен от меня, то он и оживёт для меня. Точно так же, как мы живы для богов, если от них не зависим. Но всё, что ни возьми в мире, свободно от чего-то одного и зависит от другого. Значит, всё живо и мертво одновременно! В этом – таинство жизни, и другой тайны нет.

Феодор вздрогнул и почти с видимой болью поднял глаза на собеседника:

– Нет, есть. И я назову её! Ты хочешь создать игрушку, кукольный театр, похожий на жизнь, а не саму жизнь. Допустим, тебе удастся обмануть меня, и я не смогу отличить манекен от человека. Допустим, ты сам потеряешь память и не сможешь сказать, где живое, а где созданное тобой искусственное, или, если мы будем делать игрушку вдвоём, ты и в самом деле не будешь знать о ней всё, и она, благодаря этому, оживёт для тебя, допустим. Но ты никогда не убе-

дишь меня, что манекен чувствует и думает то же, что и человек, хотя и совершает при этом неотличимые от человеческих внешние действия. Человек всегда остаётся свободен внутри себя; что бы он ни делал, он может ещё и мыслить, если захочет. И это внутреннее действие, отсутствующее в машине и не подчиненное никому в человеке, бесконечно отличает их.

В губах римлянина тенью грустной надежды промелькнула и вновь исчезла улыбка:

– Ты уверен, что оно ничему не подчинено? Чем дальше мы идём, чем сильнее укрепляется наша гражданская община, тем с меньшей вероятностью я ошибусь, предполагая, что думает тот или иной гражданин по тому или другому поводу. До Цезаря люди, просыпаясь утром, могли в известных пределах по-разному называть день, в который они входят. Путаница календаря давала им эту свободу. В результате важные сделки не могли быть заключены, договоры подписаны, люди с трудом понимали друг друга именно потому, что были свободны думать об одном и том же по-разному. Но вот, Цезарь – великий понтифик, он предлагает реформу календаря. Свобода ограничена, но чем? Истиной. Благодаря этому мы можем договориться хотя бы о времени встречи. В дальнейшем, когда истина ещё более ограничит названную тобой свободу, люди смогут договориться о большем: о боге и душе, о религии и вере, упразднят рабство, разделят богатства, уничтожат другие различия – наступят мир и без-

опасность, и всё – благодаря ограничению свободы, то есть произвола, чертой Истины.

Треск факела, внесённого рабом в залу, заставил собеседников повернуться к двери. Их лица, лишившиеся при этом теней, стали на мгновение похожи на маски. Раб воткнул рукоять факела в кольцо на стене и удалился.

– Послушай, Тронций. Вот, ты говоришь: мир во всём мире, нет ни бедных, ни богатых, нет ни рабов, ни тех, кто ими владеет, ни лачуг, ни дворцов. Но что тогда заставит раба жить, как не мечта хотя бы во сне увидеть себя свободным, что заставит господина забыть о страхе смерти, как не боязнь стать рабом? И если будет только одна Истина, разве не увидим мы себя падающими в её бездонную тьму? Никто не знает, зачем мы живём, но каждый не знает это по-своему. Так бессмыслию придаётся различие, отличие от себя самого, так оно переходит в смысл! Только разнообразие, существующее в жизни, делает её достойной внимания! Если бы все были равны, то наша жизнь была бы жизнью одного человека. Но никто: ни мудрец, ни раб, ни богач, – один – не имеет смысла. Смысл каждого – в отличии от другого. Кажется, движение стремится уничтожить это отличие, но одновременно оно совершает и нечто большее – творит Дух.

Сцепий встал с ложа. Огромная тень, брошенная факелом на противоположную стену, легла и на Феодора:

– Ты прав во всём, кроме последнего, но последнее и сам не понимаешь. Я думаю, не случайно. Ты и не хочешь по-

нимать всего. Тебе так удобнее: оставить место для волнующих своей непонятностью слов «свобода», «дух», «движение». Я тоже не понимаю всего, но не потому, что не хочу, а не могу. Здесь мы расходимся, будучи союзниками в остальном. Ты стремишься назвать человека счастливым – я стремлюсь сделать его таким. И поэтому сначала указываю, в чём несчастье, трагизм существования человека. Человек несчастен оттого, что смертен и знает об этом, знает, что он умрёт. Есть два пути преодолеть трагедию. Сделать так, чтобы человек не знал, что он смертен, или, по крайней мере, не помнил об этом, отвлёкся созерцанием различий, о которых ты говорил. Это твой путь, но это путь обмана. Различия – маски Смерти, созданные Ею, чтобы Человек забыл о Ней и не угрожал Ей. Я выбираю другое: срывать эти маски, уничтожать различия, пока не останется одно, последнее и главное: различие между живым и мёртвым. Я верю: человек преодолеет и его, если не будет отвлекаться на несущественное. Герой древности, не отвлекаясь на меняющиеся лики Протея, сумел выпытать у старца тайну. Так и человек должен выпутать из лжи преходящего тайну сути, должен преодолеть смерть. Миссия человека будет тем завершена, он перестанет быть смертным, сознающим свою смертность: настанет пора осознать бессмертие.

Немного помолчав, словно разглядывая что-то в пламени факела, римлянин продолжил:

– А пока мы не живём, а только рождаемся. Было бы

смешно, если младенец в момент появления из чрева матери вдруг стал заботиться о цене окружающего мира и своего появления в нём. А мы ведь только появляемся на истинный Свет, только формируется в нас то, отголосок чего мы назвали сознанием. Как может зачаточное, едва завязавшееся судить мир? Вообще-то, может, но и суждения будут суждениями младенческими, с оскоминой скепсиса. Нам бы родиться! А потом можно и вокруг взглянуть пристальнее и увидеть, может быть, что мир – это не текст, который помимо своего непосредственного явления, грозного и прекрасного, должен иметь ещё какой-либо смысл.

– Ты хорошо сказал, ты удивительно сказал, Тронций, – Феодор в волнении заходил по комнате, вскидывая руки. – Именно! Так и есть: весь мир и наша жизнь в нём – это два текста, два письма. Сначала мы читаем текст Пославшего нас, изучая мир и пытаюсь постичь его, затем, и даже одновременно с этим, вписываем, вплетаем свою жизнь, как новую, почти незаметную строчку в полученное при рождении грандиозное послание.

– Ты неисправим, Феодор, – римлянин улыбнулся светло и мягко. – Ну, пусть два письма, если тебе так нравится. Только нет в этих письмах ни одной буквы, не написанной человеком...

Унылые лучи низкого холодного солнца медленно текли над розовым ковром долины. Старая мощёная дорога вся была в утреннем инее, и там, где сквозь щели между каменными плитами проступал жёлтый песок, казалось, мёд мешался со снегом. Рощи лимонных деревьев проплывали совсем близко, и в съёжившейся листве можно было иногда увидеть фонарик неубранного плода. Клодий ехал в сопровождении небольшой свиты. Маскировка отъезда из Рима была продумана до мелочей. Сегодня, по совету Тронция, воинственные толпы клиентов, не дожидаясь полдня, осадят дом сестры Публия, где, как всем известно, он пировал накануне, и потребуют от трибуна решительных действий. Настойчивость требований быстро перерастёт в наглость, настолько дерзкую, чтобы ни у Туллия, ни у приверженцев Катона не оставалось сомнений, что Клодий вынужден запереться в доме из боязни за свою жизнь. Пока действительность будет заслонена обманом, Пульхер втайне договорится о союзе с германцем и пообещает послу лугиев поддержку Цезаря при объединении племён к северу от Дуная. Это была обычная политика, убивающая двух зайцев. После победы над галлами и сенатом Цезарь и Клодий, как было давно решено, поделят дела в государстве и, устроив в нём всё по-своему, приготовятся сгореть в жертвенном огне кинжалов заговорщиков. Если же их не смогут или не захотят убить, то предоставится прекрасная возможность, взяв в руки стиль и таблички, объяснить потомкам свои дела, передать сомне-

ния и мысли... Так же, как некогда Аппий Клавдий передал праправнуку Клодию дорогу, по которой тот сейчас едет.

Дорога соединила Рим с миром. Дважды она приводила к воротам города врагов, сотни раз по ней уходили легионеры и возвращались с добычей, рабами и вестью, что где они были, мир ещё не кончается.

«Поверил бы Аппий Клавдий, что его потомок, чтобы стать трибуном, даст усыновить себя плебею и заменит звучное родовое имя на обидно краткое – Клодий? А если бы поверил, то понял бы, простил? Вряд ли! Куда движется государство, в котором, чтобы стать первым, надо прежде стать никем? Или оно не движется? Прочно стоит на черепахах посредственности, уныния, лжи. Похоже на последнее. Но мы всё-таки заставим его вспыхнуть, чтобы падающие в сумерки грядущих столетий искры зажгли не одно сердце, спалили не один дворец».

Думая так или примерно так, трибун Клодий заснул в паланкине – сказались бессонная ночь и пиршество у сестры. Раб Феодор, сидящий рядом, вспоминал величественные картины, рисуемые Тронцием во вчерашнем разговоре, и поражался уверенности римлянина. «Эта уверенность сродни тупости. Всё-таки вино мистики лучше пресной воды здравого смысла. Оно не только всё собой заполняет, изгоняя страх, оно ещё и пьянит, побеждая скуку. С другой стороны, пусть такие люди, как Тронций, фанатическим трудом приближают чудо. Вдруг оно и должно свершиться через них?»

Пути чудес неисповедимы. Однако пора подумать о делах насущных. Мой господин спит, надо его разбудить. Анунций близко». Феодор проверил в дорожном ящике таблицы с текстом договора, продиктованного вчера Сцепием и слегка поправленного утром Пульхером.

– Публий, господин мой, проснись. Анунций совсем близко. Ты хотел ещё раз перечитать договор.

В час, когда клиенты в Риме должны были ломать скамьи о ворота дома Клодии, заставляя Туллия и приверженцев Катона ломать голову, что бы это всё могло значить, Пульхер открыл глаза после глубокого сна и почувствовал себя будто заново родившимся. Откинув полог паланкина, он увидел солнце в качающемся голубом квадрате и приказал Феодору остановить поезд. Римскому трибуну полагалось въехать в город в сопровождении двух ликторов верхом.

Умывшись, бегло просмотрев между глотками фалернского текст договора, Клодий махнул на него рукой и плавным, чётко очерченным движением поднялся в седло. Скачка! Она началась безудержная и пьянящая, с высокого холма в синюю дымку долины, где в центре, как мираж, превращающийся постепенно в город, рос, наполняясь деталями кварталов, повозок, одиноких деревьев, узких прорезей окон в домах, Анунций.

– Беда, Туллий. Нас одурачили. Мы потеряли, по крайней мере, неделю, а может быть, и свои головы. Верные люди передали мне удивительные вести. Пока мы думаем, как вытащить из бунтующей черни трибуна Клодия, чтобы судить его по закону, Красавчик уже шестой день в Анунции. Он неразлучен с Алеборганом, живёт в одном доме с послом и совершенно очаровал его и его племянницу рассказами об объединении германских племён в одно государство. Можно догадаться, какие услуги он просит взамен. Это измена! Завтра же в сенате надо требовать у Помпея полномочий на арест Клодия, депортацию Алеборгана, снятие проконсульского звания с Цезаря и вызов последнего в Рим.

Мясистый нос Цицерона дрогнул, полные губы разжались, но сенатор не сразу нашёл, что ответить бледному Фабию, тонкие бескровные губы которого змеились в ярости.

– Ты не прав, Максим. Помпей никогда не согласится на такие полномочия. Он не захочет издавать законы против себя. Он и Цезарь – это две капли воды, а ты предлагаешь иссушить Цезаря лучами сенатского гнева. Необходимо придумать что-нибудь другое и обезвредить Клодия, не прибегая к помощи Магна.

– Что ты предлагаешь, Марк? – овладевший собой Фабий задал вопрос, старательно растягивая слова, как при декламации гекзаметра.

– Я не сторонник необратимых действий. Тем более не хо-

чу быть их причиной, как и жертвой результата впрочем. – Цицерон говорил всё более и более уверенно. – Когда десять лет назад Катилина в ярости покинул Город, чтобы найти гибель где-то в горных проходах Этрурии, я, вопреки общему мнению, не изгонял его силой, ибо силы у меня ни тогда, ни после не было. Я лишь создал условия, чтобы Катилина ушёл, не мог не уйти в силу собственных своих черт и заблуждений. Если бы он остался, то перестал быть Катилиной, то есть разбойником и свободолюбцем, и тогда бы он не погиб. Создать условия! Это же я предлагаю и сейчас. Такие условия, чтобы Клодий не смог вернуться в Рим из Анунция. Как это сделать? У нас есть Милон. Милон завидует Клодию и ненавидит его. Из-за этого и из-за того, что Клодий наш враг, Милон – наш временный друг. Я не убийца, Фабий. Я не скажу Милону: «Убей Клодия!» Нет. Я предпочитаю сделать так, чтобы это произошло само собой или не произошло вовсе, но чтобы тогда Клодий перестал быть опасным. Он выехал незамеченным, его клиенты в Риме немало дурачили нас, ломая комедию и скамейки. Значит, Пульхер в Анунции с небольшой свитой, почти что один.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.